

Анастасия
ЦВЕТАЕВА

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
I

Благотворительный Фонд
имени семьи Цветаевых



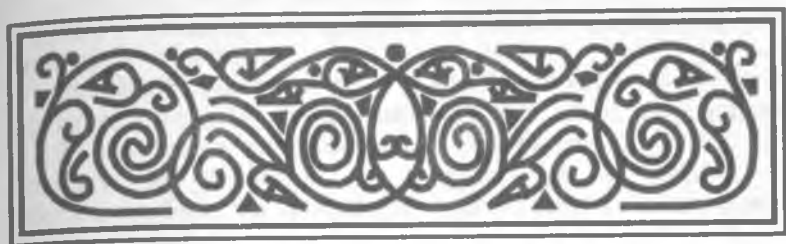
Издательство «ИЗОГРАФ»
Москва
1996

УДК 820/89 (470)
ББК 84 (2 Рос-Рус)6-4
Ц26

Составление и комментарий Ю.М.Каган
Художник Юлия Голованова

ISBN 5-87113-035-6

- © О.А.Трухачева-Ломакина, текст, 1996 г.
- © Издательско-художественный центр «Изограф», 1996 г.
- © Благотворительный Фонд им. семьи Цветаевых, 1996 г.
- © Ю.М.Каган, вступительная статья, примечания, 1996 г.
- © Ю.Голованова, оформление, 1996 г.



ДЫМ, ДЫМ И ДЫМ

1916 год





*Посвящается моей сестре
Марине Цветаевой.*

«Выпуская в свет» мою вторую книгу, я заранее объясняю, что это — вовсе не мой дневник, как сказали, ошибочно, про мою первую книгу.

То были мысли, а это — мои всевозможные чувства, которым я не найду лучше названия, чем «Дым, дым и дым».

Я извиняюсь за чрезмерную интимность страниц, делающую их похожими на дневник, но без событий и обстановки были бы непонятны чувства, составляющие содержание книги.

Я позволяю себе указать читателям на необходимость последовательного чтения, т.к. эта книга имеет план, и только тогда даст свое истинное, т.е. стройное впечатление.

А мои дневники впереди. Они выйдут лишь много позднее, с ясным и кратким названием «дневника».

Анастасия Цветаева.
Москва, 1915.

Не оттого, что земля летит, все стало сном. А лишь потому, что все мною воспринималось, как сон, я узнала, что земля летит.

Великий аристократизм сделал мою жизнь безнадежной.

«Я – я. И никто ничего не докажет. Все законы и уверения, как марки без клея, тронув меня, отпадают сами собой!»

А.Ц.

Холодок в сердце. Знаете ли вы его?
В.Розанов

Мой голос – моя жизнь – мое чтение – это как тайна –
игры – Паганини. Как речи Уайльда – все пропадет,
– и будет совсем непонятно, –
что люди находили во мне!

Склонившись над моей карточкой, которая ужасно меня
изуродовала (до смешного), будут удивляться: где красота?

О, краски лица моего,
о, бархат улыбки и взгляда,
о, бархат,
о, скрипка речей –

кто будет читать мои книги, в них не найдете и половины
их смысла – ибо книги мои – это скрипка, а мой голос – это
смычок!

Тонкие тени улыбки,
сарказма, веселия, грусти, иронии,
понижения, повышения голоса –
все пропадет...

А это в комнате давало впечатление музыки, и слушали
меня изумленно и тихо!

Каждое чтение моего дневника в жизни моей – было
победой над кем-нибудь!

Я это знала всегда – до упоения ясно.

И – тихо – у меня голова кружилась,
и нежность улыбки моей была бездонна,
на моих бледных щеках – вспыхивал румянец волнения,
и смех становился короткий и легкий,
и голос дрожал, как смычок,
– рука моя привычным движением протягивалась за
тетрадкой,
которая сама раскрывалась – на великолепных строках...

Закрывались двери. Тихо лампа горела. Звезды сияли в небе, в щелочку занавески. Я еще раз поправляла листы, облакачивалась о цветную подушку,

лицо мое легким движением спрятано в тень,

и вот начинается в комнате:

глубокое и чудесное,

мне – знакомое, ему – незнакомое,

волшебство!

Медленный

начал

смычок

по струнам

туго-натянутым

свой медлительный танец,

легкий!

Задумчивый и певучий голос мой тает, как дым,

неуловимо смеется рот, глаза опущены на страницу, – о чем я читаю?

Жизнь, музыка, смерть, моя юность. И вдруг –

легкий смычок затанцевал по струнам коротко и отрывисто,

раздается неуправляемый смех,

вся комната дрожит от веселия и блеска...

Бриллиантами падают иронические замечания,

и черным алмазом – сарказм...

жемчугом катятся слезы,

рот перестал улыбаться,

– и вот уж снова невыразимая грусть – окутала все!

Медленный

продолжает

смычок

свой медлительный танец,

– мрак.

Глубже.

Глубже.

Обрыв! Глубина!

Мне темно. Подняв глаза от тетрадки, я придвигаю лампу на край стола; руки листают страницы.

Вот это:

«В жизни нет ничего, кроме романтизма. В мире нет ничего, кроме грусти. В небе нет ничего, кроме пустоты. В человеке не может быть ничего, кроме жажды, и мир не должен её утолять!»

«Ни перед кем, никогда, я не буду права. Никогда я не буду царем положения. Я не сделаю ни одного из тех вечных жестов, которыми держится мир. Я слишком чувствую смерть, и ее неопровержимое приближение в каждой минуте.

Я слишком гениальна, чтобы оставить след! Я умру, высказав меньше, чем кто-либо!

Если б были еще храмы Эфесские, я бы сожгла их все! Если б я верила в Прометеев огонь, я бы его добыла!

Но их нет. И в огонь я не верю. И сделать – ничего нельзя»

И затем короткое замечание:

«Это я писала давно, 18-ти лет!»

«Вот, пожалуйста, ту; нет, рядом, вот эту тетрадку. Мерси». Шелест страниц. Мой замедленный голос...

...Слушая «Танго», думала: «А-ах, ничего нет преступного!...»

Я читаю. У меня щеки горят. Кончила. Что-то говорю – очень быстро, и обрываю:

«Можно еще прочесть?»

«Нет, я знаю, что я пишу хорошо, но, ведь, когда много, то утомительно... Ах, где же это? Сейчас».

Гость сидит, слушает. Перед ним – молодая женщина читает свои чувства и мысли. И что за чувство он испытывает в ответ, слыша:

«В моем замысле закончить Заратустру – нет ничего невероятного, кроме дерзости. «5-я и 6-я части «Так говорил Заратустра» – благоговейно посвящаются Ницше...»

И дальше:

«Дайте мне вечную жизнь. Дайте мне кругом земли не воздух, а мед. И пусть облака будут сказочными ладьями, и пусть реки побегут вспять – повторяю раз навсегда: все безнадежно. Все, что сможет существовать, будет: нелепо, потому что, наверное, надо было, чтобы никогда ничего не было...»

* Из моих сожженных (мною) многих дневников, в припадке отчаяния; в памяти осталось еще несколько строк, совсем мало.

«И хоть бы кругом — пир, великолепие, золото, тигровые шкуры, чаши с вином, книги, вся мудрость земли, христианство, буддизм, теософия, — все же через 50 лет нас не будет, и все будет зелено на земле...»

«...Пусть за небом грань и конец, все же есть бесконечность; если у неба нет конца, оно бесконечно; если Бог есть — он в бесконечности; всё — часть бесконечности. Поэтому все безнадежно, а бесконечности не уничтожить никогда».

«...А наверху для меня все тот же вопрос и все тот же ответ, — о, как садится солнце, как медленно озаряются пашни, как тихо, тихо, страшно далёко несутся звуки гармоники, и вот уж кузнечик... Все радостно, все пусто, все глубоко!..»

«И еще последнее, можно?»

«Думается мне, что единственный выход — это взорвать землю! И что многие это знали. Думается мне еще... ах, как мне многое думается! Но те, кому пришла в голову эта веселая мысль...»

Тихо лампа горит. Звезды видны в щели штор. Двери закрыты. За ними детский голос:

«Мама, можно!» — «Нет, деточка, сейчас нельзя».

От смущения, убирая в шкафчик тетради, я сразу начинаю посторонний, веселый, нелепо-мучительный разговор.

Звоню. Велю подать чаю. И в сердце острая, до боли, тоска.

Ах, зачем я столько прочла? Любовь к тетрадкам меня охватывает кольцом тоски, мне хочется быть одной, лечь на диван, закрыть глаза, чтоб было тихо, чтоб не было судьи, зрителя...

Пряча лицо в тень, я что-то говорю, и улыбка моя напряженна, но я скорее умру, чем покажу, что мне нехорошо.

«Да что Вы, ах это очень весело! Тот же самый, который тогда говорил...»

Несут чай. Вдали — голос Андрюши. Я зову его. Вот он стоит на пороге, широко распахнув дверь, в бархатном платье, тоненький; темные глазки блестят под прядками золотистых волос, белый воротник вокруг шеи.

Я беру его на руки, подхожу к гостю, они здороваются, и Андрюша мячиком катится на диван, и лукаво:

«Мама, можно мне пастилу?»

«Можно, деточка. Няня, и потом возьмите Андрюшу».

Андрюша не хочет.

«А что я тебе покажу...»

Мы одни.

«Что ж Вы не пьете?»

«Спасибо, я буду. В одном из Ваших отрывков...» начинает медленно гость...

У меня тоска сразу вспыхивает перед тем, как: возрасти или исчезнуть – не знаю. Легкий озноб бежит по рукам и спине. Я сижу на диване, облокотясь о подушку, слушаю и смотрю.

...«прекрасно то место, где Вы говорите»...

Тоска? Счастье? Не знаю.

Но вдруг страшно хочется мне, вот сейчас, тут же, упасть перед ним на колени, и – совершенно не зная его, не зная, за что, начать целовать его руки, в восторженной и глубокой тоске!

Знаю: он «побежден». Но во мне слишком много трепета, чтобы сидеть победительницей, улыбаясь. Что такое «победа»? Кто победил? Кто хотел.. побеждать? Господи Боже!

Через 50 лет мы будем в земле, он, я, няня – только Андрюша еще будет жив на этой прекрасной земле; наши кости будут лететь в истлевших гробах, вместе с землей, вокруг солнца...

Он тихо сидит в кресле.

С неслышанным вздохом я подхожу к окну, и откидываю занавеску. Через темный блеск стекла вижу звезды. Справа – высокий дом, в нем потухли квадратики окон. Уж близок рассвет.

На другой день мне говорят:

«Ася, разве можно так жить? Вы себя губите! Вы пожалеете после об этом! Вы сами не понимаете того, что Вы делаете! И для кого?»

Молча, слушаю.

Отворив свою дверь, я почувствовала бесконечное счастье. Здесь – только я; я одна, мои книги, тетради, и все – как хочу... Нет у меня терема – слава, слава свободе! Сидя за чаем, слушая разговор, я смотрела на всех и думала. Все по-двое, по-двое... И мне – то душно, то горько.

О, я не жалею! Я все отдам за этот миг, когда я от людей вхожу в мою тихую комнату, где меня ждут мои книжечки. Но меня поражает порой мое одиночество среди всех. Семья, вещи, дом, уют, мир — каждая женщина окружена своими дорогими цепями. И я хорошо сознаю, что никто не дает ласки, кроме любимого мужчины.

А меня — дома никто не ждет, обо мне никто не заботится, у меня нет — ни прочных друзей, ни среды. У меня только люди, которые меня любят — но ведь это песок, а не почва. И песок этот сыплется возле меня, больно делая сердцу; сегодня — друг, и нельзя разлучить, а завтра — решено расстаться, а послезавтра — я одна, и он один.

И нет среды. Как будто бы она была возможна при моих мыслях и встречах! И я ничего не прошу.

Я только хочу указать на ту горькую острую нотку каждого моего дня с людьми.

Смотрю и думаю: «Из-за свободы моей все мнят меня девочкой. И думают, что я «ищу» — не нашла еще. И говорят со мной, как... с подростком. Если б знали вы, дорогие мои друзья, о чем вчера вечером была речь в моей комнате. Кто из вас продумал те слова, что вчера я сказала? Но это все — в тиши. И вы, любезная хозяйка дома, любующаяся мной — не знаете, что среди ваших гостей есть тот — кто бросил бы для меня свою жизнь — вверх, как мячик!

Вы не знаете, что сегодня в вашей гостиной — наша последняя встреча, что мы оба не слышим ни одного из тех слов, на которые так весело — отвечаем!..»

И вслед затем:

«О, блаженство уединения! Кто так свободен, как я? И чье будущее шумит впереди таким водопадом — далеким, таинственным, без названия!»

Моя жизнь — это взлеты, падения, страшная тоска, постоянная мысль. Горечь без дна и без края! И все ж — я совершенно счастлива!

Всю жизнь буду жить одна. Поняла это. Потому что обожаю тишину, и себя в ней.

Жить вдвоем — нельзя. Но когда меня покидают — тоска. И разве я не упрекаю ушедшего? Но разве я его позову назад?

Вечером, прощаясь, я умоляю не опоздать, а то я буду томиться. Да, так мне кажется, потому что с утра вдвоем, и очутиться одной... — Но дверь заперта. Подхожу к зеркалу, медленно раздеваюсь, долго сижу на кровати, снимая чулок, расчесывая волосы, зевая, вспоминая все слова свои — за день.

Через полчаса загляни ко мне тот, кто со мной простился — он не узнает меня. Взгляд мой совсем другой. Ни тоски, ни ласки, ни обожания. Мои глаза глядят куда-то далеко, равнодушно, бесцельно, а если с тоской — то с другой. Вокруг — предметы, которых я не видела тому назад полчаса, ничего не видела, кроме его и себя. А сейчас я их вижу. Грань зеркала в зелено-синих огоньках, и ландыши стоят в блестящем стакане; я вижу все: узор ковра, ручку двери, даже отлично замечаю все вычурные цветочки на чашке, и легкий вензель гостиницы, окруженный гирляндой.

Я слышу шум лифта, глухой звук шагов, легкий запах папирос еще стоит в комнате...

Я одна в мире. Вокруг — мое прошлое, мое будущее. Я стою с глазу на глаз с коренными вопросами. И кто поможет их разрешить?

Кому я шепну то, что чувствую?

Наутро я привыкла быть одной. Близится час, когда он должен прийти, я спешу выпить кофе, встать, долго стою у окна, смотря, как высоко над стеной двора плывут ряды облаков, очень легких. Вспоминаю почему-то Dante и Beatrice. Рим. Pont des Anges. Ах, я помню, был вечер...

Угол крыши, мокрый от дождя, отсвечивает проглянувшее голубое небо. Я отхожу от окна, и сажусь писать.

И когда в дверь раздается стук, то голос, которым я говорю «войдите» — свеж и вежлив, но в нем нет ни единой нотки, соединяющей «сегодня» — с «вчера».

Как надо поступать со мной? Если, зная, что утрами я люблю писать, мой спутник будет опаздывать, то он будет прав и добр до тех пор, пока в какое-нибудь утро я не встану, в тоске, после страшного сна.

Бьет 8, половина, 9, половина, 10, половина. Его все нет. Тетрадка закрыта, я не подхожу к столу. 11. Покинутая, уже три часа ждущая утешения (!), я подхожу к кровати, и прячу голову в подушки. И на полотне – вот уж следы неудержанных, неслышанных, бурных слез!..

Как надо любить меня? Не касаясь. Ибо если ... но об этом много раз! Да, не касаясь. Но почему же два дня проведя с М., я с легким раздражением почувствовала, что он моложе и чище меня. Почему я почувствовала, что в такой безопасности – мне скучно!

Что же, как надо любить меня?

Не касаясь – мне скучно станет через два дня. А коснетесь – и я завтра так долго буду стоять у распахнутого окна, так смотреть на струйки дыма из труб кирпичной стены, и к вечеру так захочу видеть кого-то, кого потеряла из виду вот уже несколько лет... А через день – великолепная страница в тетрадке, о том, что все – безнадежно, – и я вам читаю ее, и требую, чтобы вы грустили.

От тоски меня не избавит никто и ничто.

Меня надо оставить одну, с моими вечерами над дневником, над письмами, с пластинками граммофона, со звонками по телефону Марине, и с внезапными поездками на чей-нибудь зов.

Смотреть на меня и знать твердо, что все это - «не то» и «не то!» И не знать: что же «то» – для меня!

Наше стремление все слить в едином итоге нас приводит к понятию загадки там, где есть только сложность.

Загадки нет.

Я утверждаю: я абсолютно не загадочна, но я бесконечно сложна.

Загадка – это ящикек, от которого ключик утерян. Но ключик найден – и мы видим все содержимое: алмаз ли, тоненькая ниточка жемчуга, или «беззаветное сердце».

Но человек (и я — в частности) вовсе не ящики с ключиками.

Лишь тургеневских девушек разгадывали по одной их фразе. Я же их несколько переросла, и меня не только по одной фразе, но и по десяти — «разгадать» нельзя. Я допускаю даже то, что я скажу самое истинное свое и краткое, например то, что «все относительно», — но и это не дает ничего в руки, — все тут тает в руках, как дым, — я завтра же с новой силой воскликну: «Есть лишь одно, что не относительно — это...» etc.

Но есть один способ меня узнать — это начать жить со мной со дня рождения моего до дня смерти, все видеть, все мотать себе на ус, и в итоге всего — над гробом моим произнести два-три слова.

Этим мог бы заняться мой ange gardien*, если б только France не разуверил меня в его существовании** ,

не в обиду будь сказано, что были бы эти слова, вероятно, неинтересны (например, что дважды два есть четыре, или что дважды два — пять, — это после целой-то жизни, — о бедность даже ангельских заключений!),

но и тут я не могу не взбунтоваться, встаю из моего гроба и говорю моему ангелу:

«Милый друг. Из всей моей жизни ты вывел вздорнейшее заключение: ибо, может быть, самый замысел два помножить на два, — далеко не так блестящ, как он мнится!

Если б ты был тонок, изыскан, и понимал бы толк в вещах хорошего вкуса, ты бы никогда не допустил себя до столь нелепых минут.

Ты молча отошел бы от гроба, разведя руками, объявив в заключение всего, что *ты обо мне — решительно* ничего не знаешь!»

Да. Так я думаю. Никто никого никогда не сможет узнать.

Так, скользят какие-то тени, призраки, блеснуло что-то, что-то погасло, вновь загорелось, вновь погасло — смотришь, — и все погасло!

Из этого было бы мило вывести, что — все есть загадка. Но я воздержусь. Я говорю, как прежде: загадки нет никакой.

* Ангел-хранитель (франц.).

** «Révolte des anges», Ал. Франс — «Восстание ангелов», А. Франс (прям. авт.).

Но есть недостаток в атрибутах времени, которое бежит неизвестно куда и зачем.

Есть недостаток в атрибутах пространства, мешающий нам быть в данный миг, где нам хочется.

Есть недостаток в способах восприятия, и в течении памяти... И вообще, есть недостаток во всем!..

Я говорю: «Земля летит, этот день никогда не повторится, приходите ко мне, не уходите от меня, говорите, я буду вас слушать, слушайте, что я говорю,

ни единого жеста не удерживайте, ни единому желанию не ставьте преград,

потому, что — земля летит, этот день никогда не повторится, через 50 лет мы будем в земле».

Но через слова мои — ясные и краткие, пробиваются другие слова — туманные и неверные:

«Мне безразлично, летит земля или нет, я равнодушна к выводам моих мыслей. «Пламенные шаги» — да, так надо. Но я предпочитаю быть — совершенно иной.

Я вас люблю. Но я не подойду к телефону, я вам не пожму — крепче — руки.

Да, я слыхала свои же слова, что надо быть откровенной, — но я предпочитаю лгать. Вы прелестны. Но я вас не поцелую. И — что ж? В общем — игра словами: там я холодных, как лед, людей, зову и учу быть — горячими. Тут я удерживаю мое пламя, окружив его — льдом».

Я права! Где мудрость и где безумие? Где закон и где преступление закона?

В том, чтобы все сметь — оттого, что земля летит, или в том, чтобы сковать себя по рукам и ногам — из-за одного вкуса к изысканности!

Был синий вечер, воскресенье. Вдоль трамвайных рельс, запруженных вагонами, мерно шли войска, позвякивая чайниками, блестя штыками. Вдали раздавалась музыка, толпа бежала по обоим тротуарам, небо было ночное, синее.

Я держала одной рукой Андриюшу; его матросское пальто было так весело среди двигавшейся массы людей; извозчик

ехал шагом, *Steckenpferd** трогательно прижался мордочкой к Андриюшину плечу. А я думала о том, что, может быть, это будет его первое воспоминание, — змея трамваев, музыка, штыки, — как фантастично! — а у меня уж позади — целая жизнь. И быстро пролетит ее продолжение, все — сон.

Люди идут на смерть, я слушаю музыку, небо в звездах, деревья Зоологического сада, весенний вечер, Андриюша, я.

Бесприютно! Меня холодом схватило это чувство, острое, как игла. Где вы все, мои друзья, защитники, не слышен вам мой голос. Вот я и Андриюша, и больше нет никого. Мы вот едем вдвоем на извозчике, среди шумной, нестройной жуткой толпы, и мы оба — я в 20, он в 2½ года — брошены на самих себя, в полную ответственность — не ропщу; вечер ясен, звезды горят, музыка и топот солдат — не ропщу, а только говорю: бесприютно.

Я бежала сейчас по улице. Когда я, без подъема, вышла от Марины, перламутровая розовая полоса за 10 минут сиявшая над морем, померкла. Я взглянула на небо, вдруг почувствовала восторг, и побежала вниз по горе, через камни, в светлом с кружевом, платье, держа соломенную, с большими краями, шляпу. На меня смотрели; смеялись. А я — чем больше бежала, тем острее ощущала счастье. Невыразимая *allégresse*** была во мне. Я уж не могла остановиться. Я бежала по улице, в городе, где все меня знают, где знают, что я держу квартиру, прислуг, что у меня — сын... Как девочка, как в 14 лет, я бегу, перепрыгивая, по камням. Смеются. А мне хочется крикнуть: «Дайте скорей пробежать по улице, мимо ваших домов, мне 19 лет, я не знаю, что будет, я, может быть, никогда не пробегу по этим камням!...»

Было скользко, я шла осторожно. Позади меня шел студент. Почти у самого моего дома, когда идти стало невозможно, а сойти на мостовую было круто, он помог мне, сказав:

* Лошадка на палочке (нем.).
** Веселье, ликование (франц.).

«Mademoiselle, позвольте Вам помочь?» Я ответила просто и весело, подала ему руку, и мы шагов 30 прошли по снегу, говоря о погоде. Я хотела ему сказать, что я не mademoiselle, что у меня сын уже двух с лишним лет (я бы, наверное, сказала: двух с половиной). — «Ну, вот и мой дом, — сказала я, — а Вам — продолжать путешествие! — И подала ему руку. — Да не снимайте, не снимайте», — засмеялась я о перчатке. Он пожал мою руку. Он был высок, с узким лицом. Голос был милый. Я поблагодарила его и подошла к дверям. Вошла и подумала:

«Как нелепо, что я *не могу* — вот сейчас — позвать его к себе. Я же чувствую благодарность большую, чем за то, что он помог мне не упасть!»

Когда я зажгла свет и вошла в свою комнату, мягкую, уютную, в шторах, коврах, книгах, я с улыбкой подумала о том, как он вошел бы сюда, а я бы сказала что-нибудь вроде:

«В этот миг Вы *не можете* меня уважать. Потому что даже если Вы очень умны, — то ведь мне же предполагается об этом не знать. Стало быть...»

Он бы, может быть, прервал мою фразу. Спасибо.

Ах, как я потрясена такою вот мелочью, таким крошечным происшествием!

Далекий друг, сейчас входящий в свой дом, Вы меня слышите?

«Как маленькие вещи больше больших!» — правда?

А ведь сможет случиться (жизнь причудлива!), что Вы до смерти меня не забудете! И я — Вас.

Как я хотела бы все же не найти никогда этого *он*, которого пророчили все и Л. «Будет, будет, и все это — пройдет!» Пройдет! Я буду жить для одного, выберу, наконец, и страдания, и счастье — русло. Впереди не будет тумана и страха. Я не каждому смогу «кинуть руки на плечи, под светом далекой звезды!»

Мои вечера, темные, мои утра, насмешливые и прекрасные; захватывающее до дна очарование мое, что я внезапно могу подойти к человеку, не отойти — 3 дня, 10 дней, месяц...

* Из моего дневника 16-ти лет (прим. авт.).

И то, что я сразу все говорю и ни о чем не прошу, — и вдруг прошу обо всем; ночи бесед и рассветы, которые я обожаю, больше всей жизни моей!

И в легкие прелестные утра моей ненасытимой жизни я говорю:

«Я не хочу, чтобы был он».

Л. говорил, улыбаясь: «Тогда все станет иным».

Так вот, я не принимаю этого мира — иного — еще раз! И как я люблю каждого за то, что он — он и не он...

Как я часто сравниваю себя с Одинцовой!

Во мне есть много схожего с ней.

К чему я так или иначе стремлюсь?

К тому, чтобы меня полюбили.

А тогда — у меня опускаются руки.

Ибо — что делать?

Человек, который меня не полюбил, для меня не имеет смысла.

Но если он меня полюбил — мне нечего ему сказать.

И чем больше радуемся мы в первых разговорах, тем безысходнее будут последние.

Если б он мне сказал: «Ася, я Вас люблю, наша встреча — чудо вселенной. Но если Вы умрете, я не подумаю о самоубийстве, и, может быть, под конец моей жизни — Ваш образ во мне сильно погаснет. Идя за Вашим гробом, я буду видеть, как солнце играет в лужах, и радоваться, что не я умер, а другой. И может быть, редко... может быть никогда — не приду на Вашу могилу».

Я бы ответила: «Сердечко! Ваша любовь мне — достаточно!».

Я так люблю жизнь, что знаю: кто больше: Ася — или жизнь? — Жизнь. Это — единственный случай, когда я не отвечу «Ася». Я люблю этот мир, для которого ты меня позабудешь — больше души своей!

Итог.

Это — итог двадцатилетней жизни: что такое любовь? Все? — нет; часть жизни. Я дня не могу прожить без любви, но я ни за что не скажу: любовь — все, иного нет смысла.

Есть смысл. Есть масса смыслов. Солнце. Собака. Вино. Путешествия. Одиночество. Игра. Философия.

Маленький конверт, поздравительный, визитная карточка «Г.Н.С.»

У меня в груди разлилась тревога, и что-то сладко заныло. Мне хочется его позвать. Придет ли? Надо ли звать? Фактически — я добиваюсь его любви. Но что будет, если она будет? Кто он? Позвать? Не позвать?

Так сладко от легкости подойти к телефону!

В чем больше красоты: в том, чтобы сделать первый шаг, или заставить другого его сделать?

Сердце мое уж бьется тише, и я смело себе говорю — еще раз, — что все относительно.

Подойду я или не подойду к телефону — я не знаю. Но подношу к губам его карточку и смотрю. В этом — все! Дальнейшее — безразлично.

Потому что я не знаю: в чем мое достоинство: в том чтобы быть горячее, или в том, чтобы быть холодной. И то, и другое бесконечно легко, бесконечно мне близко.

Но что такое, как подумаешь с минуты, достоинство?

Г., наверное, как и я, понимает относительность всего. И если даже он и горячо ко мне относится — то в равной степени — что ж? — холодно! И у него, как у меня, тоже не может быть такого неудержимого мига, чтобы «прийти». И он не «придет». Как и я не позову — неудержимо. Да, я его позову, может быть; но голос мой будет вежлив, и, если он откажется прийти, я не схвачусь за голову. Закурю. Пойду гулять. Будет закат. С катка будет звучать музыка — и я вспомню, как 16-ти лет, я мчалась на норвежских коньках с Б., и снежинки крутились...

Мое прошлое покажется мне лучше всего, что будет. Потом я куплю шоколаду, и вернусь домой.

Когда С. мне сказал, что он меня разлюбил, я вечером того же дня стояла у окна вагона, ела Крафтовский шоколад, и следила за струйками дыма тонувшего в лунной ночи Петербурга.

И так будет всегда!

И не будет неудержимого. Все удержимо. Трагедий нет. Есть только: музыка и мгновение. Крафтовский шоколад все исцеляет, я настаиваю на том, что все.

О, не вздорны мои слова, не возмутительны, не беспечны!

Правильны, трагичны*, легки, продуманы, пережиты.

Г.! Жму Вам руки! И если можно любить — я люблю...

Но почему не лежать на диване и не думать о другом?

И если будет трагичное между нами, то — случайно. Впрочем, не Вы ли это знаете!

Если я позову — то в припадке бесконечной свободы. Я позову Вас по телефону, Вы ответите вежливо. Вы войдете, я буду курить. Через час земля из-под ног оборвется... Но не будь телефона — я бы легла на диван, и заснула. Вы могли быть заняты, я бы сказала «как жаль» и положила бы трубку.

Я настаиваю на том, что голову разбить можно — только от себя самого!

Плиты тротуаров! Апрельский день! Маленький Андрюша, везущий тележку, у Г. распахнуто черное пальто, на зеленой фуражке блестит значок, глаза под рince-nez** щурятся от солнца!

Я!

Мы идем, и медленно за нами, на деревянных колесиках тащится Андрюшина тележечка. Мы говорим о возможности беспорядков. Я сперва, в отвращении, пугаюсь, и хочу ехать в глубь страны, потом спрашиваю Г., примкнет ли он, он говорит, что не знает. В этом много любопытного, да. Но на мое задумчивое заявление, что, может быть, и мне надо попробовать стать героиней, он отвечает: «Нет, не стоит, в конце концов».

Я вспоминаю, что за всю мою жизнь я активно жила только в третьем классе гимназии, и уже в четвертом соскучилась.

* «Трагедий нет» — обаятельное противоречие! А.Ц. (прим. авт.).

** Пенсне (франц.).

Но он утешает меня, что возраст тринадцати лет еще раз неожиданно возвращается.

«Бог знает! – говорю я задумчиво, – может быть, все же – чтобы понять – надо непременно примкнуть».

«О, конечно!»

Мимо мчится галопом солдат на лошади. «Ах!» вырывается у меня.

А солнышко светится ласково, и медленно клонится к западу.

В нас обоих столько всего, он так прелестен, так тих, так замедленно звучит его голос – и шаг; так «лениво» расцветает на его губах – чарующая улыбка, и через минуту он может так загореться, жесты его станут быстры и широки, глаза заблестят, голос зазвенит, как струна, – весь другой! – но вот снова поник – и медленно падают интонации, и в лице, тонком и юном, какая бесконечная грусть! Точно жажда покоя... точно тихое одиночество, и что-то спокойное, как в старости, светится в его внимательном, чуть улыбающемся взгляде. И так похож на своего брата Бориса, с которым я рассталась.

А сейчас, когда солнце осветило его, какая-то страшная нежность видится мне в его глазах, глядящих далеко, на золотистую пыль заката, нежность бесконечная и простая...

Что-то смертельное схватывает меня за сердце от этого весеннего дня, от неги солнечных лучей, от медленного нашего шага, от тележки, катящейся сзади, от него, от себя, от того...

Мы простились у мостика. В бурном небе неприветливо подымалась красная луна, убывающая. Я шла по полю, от которого душно пахло полынью, вверх были звезды. Бархат был вокруг меня. И счастье. Восторженным движением, в котором мне не хватало воздуха, я обняла крест-на-крест свои плечи, и, широко открыв глаза, шла так, глядя в тьму, в ночь, в ветер, чувствуя Вас, слыша Ваш голос, нежные Ваши и сдержанные слова, видя очерк бровей и глаз – ничего не видя...

И так я буду идти еще много раз, много раз после «первого разговора!» Падаю ниц, в пыль дороги, и целую землю за то, что я *такой* ее вижу!

Как – утром я была полна веселья и остроты, ласковости шуток, вызова, и как – вечером утомлена целым днем мыслей о нем, и десятью часами прожитой жизни, была другая, точно на десять лет старше! И как не хотелось острить, и как шутки были тяжелы и не к месту – раскинув руки по песку, лежать, солнце ложится, мчатся паруса, мчатся волны...

Как оскорбительна жизнь!

Лежала и думала: «Я хочу только того, чтобы увидеть его вдали, приближающегося, – больше ничего не хочу – и это мне не дается! На это я отдаю силы целого дня!».

И – дальше: «Подумайте о том времени, когда я, тяжелее камня, буду лежать мертвая; подумайте, эти руки, сейчас неловкие и прелестные, холодны и больше не движутся; не пробежит это тело, на легких моих рогах, по камням!».

Бурно открыли бы Вы, если б знали, дверь мастерской, и сбежали бы вниз... Вы же подходите, здороваетесь, спрашиваете о купаньи; если б знали Вы, как больно мне отвечать на вопрос – сколько я собрала камешков!

Будет время, мой милый друг, когда, прожив жизнь трудную и пустую, искусство ставя выше жизни, Вы,
мэтр,

– улыбнувшийся над лиричностью моих строк, сказавший о них «ребячество»,

вспомните, пожалуй, меня, наивную девочку, веселую, острую, дерзкую, невоспитанную, всегда немножко смешную, говорившую Вам о Ваших стихах вещи простые и, должно быть... Московские, – перебирая в ладонях пестрые камешки, кидая их вверх!

Жизнь пройдет, все пройдет, тверже, скорее, чем мнится! Уже нет этого дня, и он никогда не повторится...

Канет в тьму все: «классицизм, символизм, акмеизм», – и, когда-нибудь, Петрограда не будет...

Покончив с собою или скончавшись пристойно, Вы будете под землей – тьма навек, как не думалось Вам, и как уже случилось со многими.

Декламатор! Поэт! Вы тогда поймете, пожалуй, смысл моих «нелепых» речей, и моих «московских» поступков!

И вспомните Вы тогда, если сможете, наши давнишние разговоры,

– Ваш юмор, Вашу сатиру,

– мой вздох,

Ваши критерии всех вещей

— и мое знаменитое «озорство»,

— и то, как подолгу я слушала Вас, во всем несогласная с Вами, не споря! — Но не все вспомните Вы, так как этого не узнаете, как какой-то frisson* тоски несся по мне!

Так позвольте напомнить Вам — равнодушие мое — после нежного обращения, то, как я внезапно вставала идти, то, как подавала Вам руку, и как не могли Вы понять ничего, видя такую грусть, слыша в саду через пять минут — мой веселый голос!

Легкий балкон с резными перилами, за ним — дождь и черная ночь. Город без огней утопает в зелени; из аптеки, внизу, и из ресторана — щитами затененный свет (от моря, от турок). Блик света, упав на край дерева, осветил одну его веточку. Едут экипажи. Гудя, мчится автомобиль. Я сижу на стуле, в тени, вдыхая легкие капельки. Передо мной, в луче света, падающего из комнаты, стоит, в коротком сером пальто, тоненький Пушкин. Прядь темных легких волос упала на его лоб; тонкие руки сложены на груди. Его силуэт рельефен и ярок на фоне тьмы — я его на всю жизнь запомню! Позади, в открытой двери, ветерком чуть зыблется длинная кружевная штора, а за ней, на столе, мягко горят в высоких подсвечниках две свечи, освещая накрытый стол, чашечки, блестящий кофейник, вычурную бутылку ликера. Чуть сощурилась, курю...

Я все в жизни встречаю с пафосом. Все во мне вызывает — тайный восторг! Но как я люблю эти темные — жгучие — инстинкты души моей, о которых так трудно сказать!

Сижу, опустив руки на черные складки пальто, курю; вполне ему неизвестная. Он сидит, что-то говорит. И вдруг — с невероятной силой, разрывая все, что стоит на пути, — и с каким наслаждением сознаю я этот мутный призыв, — делая больно голове, лбу, рукам, всему сердцу, всему существованию, — во мне несется тоска! Она темна и величественна. И в эти минуты я хочу той потрясающей красоты жизни, которая именуется ее безобразием, в которой все — мутно, все — через

* Озноб (франц.).

край. Вызов всей душе моей, всем тихим чувствам, всему, что я лелеяла вчера, и буду лелеять завтра!

И в эти часы, что сказала бы я М.А.,¹ другу моему, защитнику, моей пристани?

Только то, что пристани нет, что я одинока.

Я не обманываю себя. Я прекрасно знаю, что я никогда не погибну. Все – час, все – миг. На другое утро я бы стояла, чиста, как всегда, устала, невинна, в тоске: за окном – зелень, даль гор, деревенька, сельский ласковый пейзаж... Вон голуби у ограды церкви, и деревенский погост... Не показалась ли бы мне прошедшая ночь – глупостью и кошмаром? И жизнь – тишиной?

И сейчас – не курю ли я, с улыбкой смотря в окно, на желтую даль холмов за изгибом моря? Не напеваю ли я чистый мотив «избитой» St. Lucia?

Как легко бы могло случиться! Закрываю глаза, думаю:

– Клубы дыма, запах папирос, кто-то жмет мне руку, князь М. эластичным своим и стремительным шагом подходит ко мне. Я на него не гляжу, протягиваю ему руку, он, осторожно и крепко сжимая ее, подносит к губам. И уж через 10 секунд продолжает прерванный разговор с кем-то, взявшись за спинку стула; его рассказ образен и горяч, как всегда, но быть может и его голос стал сейчас – и мягче, и звонче. Он во внезапном жесте своем застыл, облокотясь о стул, его ботфорты блестят, – какая неотразимая грация!

П.Н. подходит к потонувшему в темноте клеенчатому дивану, и, взяв гитару, перебирает ее – гулкие звуки. К. вышел в соседнюю комнату, унеся с собой свечи, стало полутемно. Под самым потолком старинного кабинета – синее пламя лампадки; бледно блестят стекла овальных портретов, здесь и там слабо мерцает золото – ободок какой-нибудь рамы, золоченый фарфор, пышная люстра. П.Н. напевает:

* Санта Лючия (итал.).

– «Je crains de lui parler la nuit,
J'ecoute trop tout ce qu'il dit,
Il me dit: «Je Vous aime...»
Et j'entends malgré moi,
J'entends mon coeur qui bat, qui bat,
Je ne sais pas pourquoi...»²

Я сижу в вольтеровском кресле, у меня бьется сердце, — я чувствую, что князь подошел, неслышно, ко мне, и стоит, облокотясь о высокую спинку.

Рокот струн. Знакомый мотив — что это? Ах, это песенка из Островского, — помню, девочкой, в театре Корша, я видела его пьесы. Буфетные, девичьи, липовые сады, тяжелые вышивки, бусы...

«Ты изменил, и льются слезы,
И я в тоске не вижу дня,
Упреки, жалобы, угрозы
В душе бушуют у меня...

* * *

Твоя улыбка открывает
В моей душе — блаженства рай,
И я с тоскою повторяю:
«Не изменяй, не изменяй!...»

Помню: невеста медленно подымается, все с гитарой в руке, смотря в упор на приезжего барина, глаза горят, ручки еле трогают струны.

– «Нет сил таиться, я рыдаю,
Хоть гордость шепчет мне «скрывай»,
И в страшных муках повторяю:
«Не покидай, не покидай!...»

Гитара ее тогда, зазвенев, покатила на пол, и уж я — не я, я — она, но гитара спокойно звучит, и вот уж мотив меняется, и я поднимаю на князя изнемогающие, прекрасные мои глаза!

Но М-те В. трогает клавиши. О, как «непосредственно» и стремительно я подхожу к ней, прося спеть мою любимую песню; разговор замолкает, и, звеня, расширяется ее голос, наполняет, наполнил комнату и уж переполняет ее.

«Андалузская ночь хороша, хороша,
В ней и страсть, и немое бессилье.
Так что даже спадает, спадает с плеча
От биения сердца, мантилья».

И (я чувствую это, застыв у рояля в моей всегдашней слушающей позе) – тихо подходит князь и становится подле меня...

И тут – я напрягаю все силы свои, чтобы не спасовать и ответить: я повертываю к нему лицо, и встречаю взглядом его взгляд. И ничего больше. Я снова смотрю в рояль и слушаю пение, но вся почва жизни моей, заколебавшись, бросается из-под ног, и что будет потом, я не знаю: ветер ли у моря, и я перед ним, смотрящая в лорнет, в тоске, на далекие огоньки над черной водой, и там далеко-о, один красненький, разбивающийся столбик под ним... Или – то же море, но мы вдвоем? Я ничего не знаю! Я... Князь – знает?

«...В винограднике чьи-то шаги шелестят,
И мелькает огонь от сигары...»

А через три часа – стукнет за мной дверь, и ветер рванет на тоненьком шнурке мою сумку; золотые огоньки по горе разбросаны реже. Плотно обнимает пальто с невысохшим воротником. Я стою на ступеньках, слушая, как кто-то из оставшихся трогает клавиши, я в тоске хочу: только заснуть, и долго, долго не просыпаться, – до следующей встречи. О, буря,

«О, ночь, о, глаза!»*

Князь. Если б Вы вышли сейчас, и, взяв мои руки, сказали «едем со мной?» – я бы кинулась к Вам, и, может быть, в первый раз...

Но ночь тиха. Дверь не стучит. Вы не идете. И как кружится у меня голова!..

* Из сказок Шехерезады (прим. авт.).

Никуда идти не хотелось. По освещенной и шумной Тверской я прошла в Трехпрудный. Мне хотелось этот день завершить именно так – о, дом волшебный и давний!

Дворник отпер мне черный ход, и, не зажигая света, я прошла по комнатам, внизу, потом вверх. Пусто, холодно, тени, снаружи падает свет. Выступы, печи, двери, окна, паркет, разорванный линолеум... Как дико идет жизнь!

Сколько людей, сколько дней, сколько лет! И прошлое – не больше, чем сломанная картонка – о Боже мой!

Я стояла, прислонясь к подоконнику, в глубине моего бывшего «магического кабинета», и вспоминала. Этот дом – он точно прообраз всей жизни: было – ушло. Ни следа. Голые стены. С вокзала слышались, как всегда, гудки... Те же окна...
Все: реально.

И нет: ничего.

И я уж не та, и меня нет. Да, мы вступаем в ту же реку, – и не вступаем в нее!

Двор: сугробы снега, мостки, знакомый вход, тополя, – ведь это кипело, жило; хлопали двери, мы выбегали во двор, визжали собаки... Темно. Мокро. Окна блестят. Вот мои окна. Дом с т о и т. Все, как прежде. Ничто не дрогнуло. Почему из нас никого там нет – непонятно!

Б. – в черном пальто, широкополой фетровой шляпе, с белокурыми, волнистыми легкими волосами вокруг тонкого оживленного острого лица, его «р», его смех, все его причуды, синий блеск глаз, которые я так любила, тонкие полоски бровей... Б. – это целый мир, перед которым я часто перестаю быть собой. Я ждала его с чувством стесненности и тоски, а рассталась с ним нежно, беспомощно, вся поникнув. Он все тот же. Он – он. Я никогда не сумею этого рассказать. Но что бы я о нем ни говорила, порою мне кажется – никогда тут не пройдет все, до конца.

Мое сердце от иных выражений его дрожит, как ни от кого. Актер! Ребенок! Друг! О, эти иронические речи в течение часа, и поспешное прощание «мне пора», о, этот сарказм, который я ненавижу, но от которого всегда так больно, это красноречие, этот вздор, который он говорит, это нестерпимое поведение, инквизиторские вопросы, все что бесит меня, все, что меня так измучило – все это я глубоко и непонятно люблю!

Но что между нами скользит – настолько острее, глубже, лучше моих рассказов, что об этом бесполезно писать.

Я не буду преувеличивать. Сейчас я уж становлюсь собой, все проходит, все удержимо. Конечно. Но не встречала я такого кипения, такой игры, таких: пафоса, остроты, боли, такой бесполезности, только: он и я.

Кому так глубоко, как ему и как мне, «наплевать» на все окружающее? Кто с такой злобой может смеяться, и кто так добр?

Есть две картины, беспокоящие глаз... до красоты... до безобразия: это – Борис Т., и Анастасия Цветаева!

А думая о Г., я чувствую чувства глубокие, тонкие, острые. Часть души моей в нем осталась.

И самые прекрасные часы моей жизни – (о, как ответственно и как больно писать!) были – самые безысходные!

А теперь я чувствую – что-то оборвалось в жизни моих последних дней. Я в тихой и смутной тоске. Я снова одна. Мне – по-человечески – ужасно грустно. Да, я все понимаю. Иначе и быть не могло. Но эту грусть расставания подчас почти нельзя перенести. Да, я знаю. Путь нет! Ну два, ну десять вечеров пробыть вместе – и прощание. Но как хочется мне пойти к нему, положить ему руки на плечи, сказать, что я его начинаю любить...

Как душно. Как хочется быть человеком, женщиной; как бьется сердце, как бьется жизнь, как хочется превозмочь безысходность!..

– Т., – говорю я, – значит, Вы меня любите?

– Да, Ася.

– Ах, как это безнадежно!

– Совершенно.

– Да нет, Вы не понимаете, что я хочу сказать!

– Напрасно Вы так думаете.

– Да нет, я просто удивлена. За что Вы меня любите? А

Вы меня очень любите?

– Очень.

- И всегда будете любить?
 - Всегда.
 - До смерти?
 - Думаю, да.
 - Это очаровательно, Т.
 - Совершенно.
 - Но Вы ясно понимаете всю бессмысленность этой любви?
 - Вполне.
- Молчание.

- А знаете, Т., если говорить откровенно, то я совсем не понимаю Вашего отношения ко мне.

- Я его сам не понимаю, Ася. Если б я его понимал, я бы Вам, конечно, помог.

- Скажите мне, Вы пишете какие-нибудь заметки о войне? Нет? Ну да, я понимаю, некогда. Да впрочем, вы говорили, что у Вас прекрасная память...

- Вы забываете, что я тогда говорил о моей памяти по отношению к Вам.

- Ах, вот как! Но Вы, конечно, не сможете ничего — написать об этом?

- Конечно, ничего! Никогда.

- Так. Печально.

- Ася, печально ли?

Трамвай качается, вдали — маленький кусочек синего неба, и льдом покрытые, тонкой корочкой — мостовые. Дома.

- Т., как Вы думаете, почему все мои друзья в последнее время мне деятельно твердят, что я из хорошей семьи. Что бы это значило?

- Надеюсь, я Вам не говорил ничего похожего?

- Вы — нет; но другие. Знаете, в этом есть что-то почти фатальное. Я знаю, что многим, глядя на меня, приходит мысль, что я непременно погибну. Но, ведь, по существу говоря, это глубоко глупая мысль. Ибо когда я ближе к себе приглядываюсь, я вижу, что я уже погибла. И — знаете, странное ощущение! Я бы сказала так: все уже свершилось. И смешно: я уже погибла, а жизнь кругом меня продолжает идти, как всегда, и все очаровательно по-прежнему. И я сама

очаровательна... Изумительные, я Вам скажу, на свете совершаются вещи!

– Да, я думал об этом недавно. Вещи поистине изумительные.

– Т., Вы когда-нибудь видели женщину необычайнее меня? Как? – Вы раздумываете? Друг! Это очень плохо. Вы совсем разучились – на войне – быть галантным. И Вы не поняли моего вопроса: он был бесконечно менее глубок, чем Вам показалось. Мне не надо от Вас ничего, кроме любезного ответа. Ну, ласкового. Ну, нежного. Ну...

– Я жду.

– Вы не дождетесь.

– О! Я шутил!

Пауза.

– Да! Вы меня любите? (я стою у граммофона, он играет вальс «Wienerblut».).

И в то время, как он отвечает мне, что я уже повторяюсь, я говорю, переставив иглу на мое любимое место – сладостный перелив, –

– Вы очень любите жизнь?

– Очень. Особенно теперь.

– Ах, я тоже.

– Ася, Вы скоро перестанете заводить эту ужасную музыку?

– Но ведь я ее люблю! Это моя главная радость! Неужели она Вам мешает? Андрюша же спит под нее!

– Но я не совсем – Андрюша. Я не мог даже спать под стрельбу, а уж под музыку...

– Вы мне очень нравитесь.

– Я это знаю.

– Вы дерзки, мой друг. Но это пройдет. Вообще – все пройдет! Т., все пройдет? (Я остановилась перед ним, опустив руку с папиросой, чуть наклонив на бок голову, и гляжу ему в лицо. Он выше меня на целую голову, в офицерском мундире, волосы и бородка коротко подстрижены, голубые глаза длинного и холодного разреза, прямо глядят на меня.)

– Все пройдет, Ася, это совсем несомненно.

Я гляжу, потом улыбаюсь, потом таю в вопросе:

– А Вы меня очень любите?

– Очень.

Потом вальс «Березка». Он стоит рядом со мной и рассказывает об одной ночи, когда невдалеке разрывались австрийские «чемоданы», — как у него что-то сжалось в груди.

— Скажите: страх, ужас?

— Ужаса никакого. Но скверное самочувствие. Мы прилегали... Из австрийского лагеря, слышно, — немецкая речь, огоньки видны...

— Так зачем же Вы едете туда еще раз? Ведь Вы не обязаны ехать? Вы...

— Да интересно, Асенька.

— Благодарю покорно. Что за нелепая игра со смертью!

— Возмутительная. На другой день мне было поручено перевести наш поезд...

Я слушаю. Вальс звучит. А где-то рвутся снаряды.

— Много видели раненых?

— Много. Человек по пятьсот... Лошадей очень жаль, невозможно смотреть на раненых. Эти глаза, и они так тяжело дышат...

— А людей жаль?

— Меньше.

— Да, я тоже думаю, что меньше. А Вы, все-таки, очень добры?

— Я? Думаю, что нет.

Пауза.

— А вот еще раз мне пришлось с одним офицером скакать ночью...

— Ах, — говорю я, прослушав, — зачем Вы едете снова? Вдруг будете убиты?

— Все возможно.

— Не жаль?

— Да как Вам сказать? — иронически — жаль — немножечко...

— Мне тоже — немножечко жаль... (он кланяется).

— Нет, интересно! Сейчас бы трудно не ехать туда!

— Да, конечно! — с внезапным подъемом восклицаю я, — Ах...

Но тут главное во всем этом, то, чего никак не сказать. Вот солнце узким лучиком упало ему на плечо, и меня что-то остро схватило за сердце... Вальс смолк, и мы оба стоим, замолчав, и я опустила глаза под его взглядом, который не подходит к тому разговору, что мы ведем. Вот я курю, он стоит напротив меня, большой и высокий, я точно девочка

перед ним, я что-то шучу, говорим о смерти, кощунство и изящество таких разговоров мне бросились в голову, как вино —

я смотрю на яркий цвет его погон, на бобрик русых волос, вспоминаю, как мне было 13 лет, ему — 20, как я часто бывала в его семье, летом, в розовом платье, он мне срезывал можжевеловые палочки, давал книги...

И вдруг —

ах, вместе с ним, без ответственности, без будущего, так, ради вечера, кинуться в самую бешеную жизнь, — о свобода!

И он, и я твердо знаем: что все неважно,
что все возможно,
что все пройдет!..

Ах, мы твердо, должно быть, помним, что мы «из хороших семей!..

Я устала и не позвала его. Была ночь. А ему было грустно и он сказал: «Бывают минуты, когда у человека пусто на душе, и тогда его нельзя отпускать».

В былое время я вся бы рванулась вперед на такие слова. Да мне и сейчас жаль. Но... Ах, пытка — быть нежной, когда хочешь писать. Но еще хуже — «быть искренней», т.е. равнодушной, рассеянной, и через 10 минут раздражительной. И я, конечно, только разумна, что осталась одна. И если назвать этот поступок мой — некрасивым, то уж тогда вся моя жизнь — просто-напросто — безобразие.

Итак, пусть или все мое содержание — безобразно, или каждый поступок, вытекающий из основного, красив.

Жизнь так коротка! *Дни, ведь, наперечет!* Жалость тормозит жизнь — страшно. И если подумать о том, какую каплю помощи принесешь всею жизнью жертв — в общее море, — то как безнадежно!

* Что такое «бешеная жизнь»? Путешествия? Питье вина? Катанье на тройках? — О, прекрасные времена, когда еще можно было «бешено жить» — времена авантюр, Манон Леско, Казанова... Теперь нельзя кинуться в бешеную жизнь с человеком любимым. Можно только *дожить* до этой бешеной жизни (моя зима 1912–13), но уж это не манера любить, а конец любви, и начало новой. — А.Ц. (прям. авт.).

А у себя отнимешь – жизнь. Один день, другой, ночь, другую... Нет, я права – ни под каким углом понимания я не обязана помогать.

Как странно. Каждые отношения с человеком – мне приходится накрывать этой глыбой льда. Неминуемо. Иногда еще хватает за сердце. Но я себе на даю углубляться, а скорей закрываю клапан.

«Помочь нельзя, не помогай!»

«Большой жертвы ты не принесешь, не приноси и маленькой!»

Вот мои правила с людьми.

Что это значит? Почему у меня всегда³ остается какая-то (в бесконечной глубине) тонкая ирония к тому, кому я принадлежала? И такое чувство, будто тот факт, что я ему отдалась – ничем и никогда не сможет им быть мне отплачен, и, даже, пожалуй, оценен. Словно отдача моего тела – факт настолько большой, что его не охватить ничем. И смешно, что это именно у меня, которая с такой легкостью и пренебреженьем смотрит на этот вопрос, так не любит ему ставить преград, и отдавать внимания! Думаю, что каждый поймет это здесь, когда дело идет не о нем. И потеряется и перестанет понимать, когда это будет по отношению к нему – потому что он совершенно прав, я не права – за что же?

Прислонясь к калитке, я стояла. Вечер был мгlistый и неприятный. Не то с фабрики, не то с вокзала неслись гудки. Лаяла собака. Где-то за воротами слышался смутный разговор. Во дворе. Тот дом, куда вошел В., был казарменного вида, красный; только внизу было освещено одно окно. На соседнем дворе невыносимо орала кошка, жалобно, резко, жутко.

Я думала о том, как трудна любовь, как она невозможна, как я могу (бессмысленно и разумно) возмутиться против В. за то, что он оставил меня одну тут стоять, хоть две, хоть три минуты, когда гудят гудки, холодно, бесприютно.

И от всех этих звуков, тумана и гула города, я почувствовала тоску – совершенно особенную. Это – *земная тоска*. Такой тоски нет на Марсе, не было на луне, не будет ни на

одной планете. На эту тоску люди отвечают двояко: пускают себе пулю в лоб или — целуют землю.

И, если в расцвете ваших сил, юноша или девушка, стоя вот так у каких-то ворот, в хмурый вечер, перед казарменным домом, вы ощутите эту тоску — то вам простится уже все последующее, что бы вы ни делали. Ибо *это* не имеет названия.

И никто (самые горячие, самые мудрые!) ничего не предложат в ответ. Ибо — что ж? Один целует землю, а другой скрестил руки. Корень тот же. Отчаянье то же. Все то же.

Что тут возможно? Я, ведь, знаю, чего я хочу: только вот этого мига, когда мы вышли бы вдвоем на этот балкон, откуда он провожал меня каждый день — чужую, чужой. Все, чего я хочу — укладывается в несколько часов времени. И с этим прийти — невозможно.

Что он чувствует ко мне, и что думает?

«Я гостил в твоём сердечке

Только миг!..»

Сегодня какой-то поразительный день.

Кратко: я счастлива.

Так много, что ничего не могу рассказать! Всю ночь говорила с Л. В итоге этой бесконечной беседы мы вывели странную вещь: что мы друг друга не любим. Но по странной игре судьбы, мы все же никак, никак не могли проститься, все держали друг друга за руки, и он целовал мои. Мой вчерашний день: неожиданно раздался звонок (я... забыла лорнет у него, он... принес, и хотел тотчас же уйти, я за ним послала, его вернули); мне пора идти к С., он провожает меня, но их нет, и я догоняю его на углу. Мы гуляем по молу, с корабля сияет прожектор, по взволнованным, бурным волнам — лодочка, и матросы гребут, и их белые костюмы — в луче прожектора ослепительны. Пахнет рыбой, канатами. В десять часов мы прощаемся у моих дверей. Но я иду его провожать, курим, пахнет акациями, ночь. Мы тихо воз-

* Стихи Игоря Северянина (прим. авт.).

вращаемся ко мне. И потом говорим, говорим, говорим, прощаемся и снова бродим кругом, и снова подходим к моим дверям, сидим на ступеньках, и все идет по ступенькам, тихо и сладостно, лорнет – «был слабость», он думал обо мне, когда я о нем думала, в тот же час,

а я –

ах, мне его лицо мило, бесконечно мило, «но только потому, что недавно и ненадолго»; «я ни в чем не хочу – легчайших цепей, ни себе, ни другому, я очень сознательна, очень серьезна, очень – ребенок»; наконец, – «мы друг друга не любим»... «Но почему если так...»

Когда я вошла в мою комнату – уже рассветало.

И весь этот день, как облако золотое, пронесится над взволнованной головой моей, над синим заливом Феодосии, над девятнадцатью моими годами, – в силе и славе своей!

Страдаю ли я? Нет, может быть.

Я весь день сегодня на-людях. Жизнь сегодня идет галопом – точно помогая мне. Но... все висит на ниточке. Мне и страшно и радостно.

Что это было? Но сегодня более чем когда-либо я обожаю жизнь.

«Деточка...» «Дочка моя»... Все пройдет, а все могло – не пройти.

В окне напротив – слабый отсвет зари. Я вспоминаю тот вечер у Л., тот заход солнца, – о, как я люблю все это, и как я к этому еще близка! Мне хочется набросать, поскорее:

в сером легком платье я стою перед ним, наводя на него аппарат и спеша, и жалея, что вот уж садится солнце, и так мало осталось пленок... Яркий последний свет к западу идущего солнца ослепительно и тепло залил его милую комнату с картинами по стенам; на столе милый и частью мной причиненный беспорядок, среди его вещей – моя сумка, лорнет; мы курим; бутылка вина и две рюмки, маленький стакан с розами, они осыпаются, а вода блестит серебром и прохладой, – все это горит в последних лучах нашего, может быть, последнего, общего дня! Ни он, ни я не касаемся сейчас

этих вопросов, и быть может, обоим нам кажется, что вся их трудность — нами изобретена.

Я только больше хочу снять сейчас, вот так — *intérieur*^{*}, это окно, бутылку, розы, и его у стола; он уговаривает остаться, но я бросаю о стол папиросу, и, говоря, что «скоро, скоро, сейчас», галопом сбегая по крутой лесенке и галопом же мчусь по горе, до угла, до зеленого сада, где сажусь на извозчика и еду в город. Кое-где, в домах, в мелькающих по бокам переулках, ярко горят окна — закат, — и в этом раннем блеске купаются и трепещут тополя, и ветер рвется порывами, шумят колеса, вот Итальянская, легкое платье мое волнуется, я соскакиваю у магазина. Заряжаю и еду назад, солнце еще ниже и ярче, и все уже зажжено и розово, и еще нежней тополя...

Ворота. Лай собак. Я вхожу. Я снимаю. Вот он стоит передо мной, заложив назад руки, и улыбаясь так мило, что я никогда этого не смогу передать. Его острое больное лицо, маленький рост, русые волосы... Потом *intérieur*. Эти розы.

Солнце еще не село! Последние его, свежие и пронзительные лучи освещают нас!..

Маленькое воспоминание: в тот час, когда я решала, ехать к нему или нет, он вдруг порывисто встал со своего стула, на совете, и стал ходить взад и вперед по комнате, не зная, что с ним...

Выходим на крыльцо, где море и огоньки, и я предлагаю пройтись. Ночь прекрасна. Под гору сходим мы мимо Венеры к морю. Я предлагаю дойти до вокзала, проводить Л. У меня сердце бьется. Четко звучит наш ускоренный шаг, четко бросил лорнет мне в глаза — волны и огоньки; я иду — на что — я не знаю: может быть, на то, чтобы перечеркнуть Ирину из «Дыма», на ходу уже — вспрыгнуть в поезд, кинуть руки на плечи...

Мимо нас, очень быстро, с грохотом, в дыме, и сияя огнями, пронесится пассажирский поезд!..

* Интерьер (франц.).

Мы все же доходим до вокзала, раза два прогуливаемся по платформе, я с жадностью гляжу на те доски, по которым он только что проходил... Он быстро мчится сейчас; может быть, стоит на площадке... Не судьба!

Ах, как я была права, говоря, что любовь никогда не кончается! И хотя и невозможно, и ненужно мое возвращение к нему ради узнавания «белого и черного», как он мне тогда говорил; хотя я и неопровержимо знаю это «белое» и это «черное», вернее, знаю, что ни белого, ни черного нет, но вот, без этих и вообще без всяких вопросов – тоска легкая и глубокая, и я все помню, все до последнего слова, все до последнего жеста, и эту папиросу из его рта, которую мне было так сладко, так сладко курить...

И акации.

И его голос, дразнящий и нежный, какую-то игру в любви, какую-то прелестную улыбку над тем самым, что и для меня и для него – было серьезным. Навек я запомнила мои утра у него, и затем его вечера у меня, и тот вечер на море с прожектором, и булочную, где я ела пирожки и пила молоко по дороге к нему, в серебристом платье, с чёлкой моих русых волос. Да, конечно, это теперь уже прелестный рассказ, это уж сбоку от пути моего. Но... повторяю: любовь никогда не кончается. И затем: все, что было, было: и горько, и глубоко! Той минуты, когда я сидела на подоконнике, утром 17 мая, простившись с ним, и, перевесившись в окно, глядела, как он уходит, и не чувствовала под ногами *никакой* почвы, и не видела *никакого* будущего, *этой* минуты, которой никто не измерил, и которой *ничем* не вернуть, –

этой минуты я никогда не забуду!

До следующей минутки тоски, Л., я прощаюсь с Вами, до следующего раза, когда я вновь пойму, что любовь никогда не кончается. Тихо и легко, серьезно и в то же время играя, я губами касаюсь Ваших волос. И где-то земля для нас все-таки «вертится», и я настаиваю на этом, – и значение этих слов понятно только Вам!

С минуты на минуту жду В. Сейчас может раздаться звонок — и я примусь за еще совсем непредсказуемую мною роль, которая кончится — чем? — Я не знаю.

Я знаю, что сейчас тишина пронзится звонком. Так будет. Какое странное состояние!

Он сейчас или подходит к моему дому, или сходит с трамвая, или стоит у дверей. И нажмет кнопку. И я тогда охвачу руками чуть теплый фарфоровый зеленый колпак электрической лампы, или кину на себя быстрый взгляд в зеркало, или закрою руками лицо, привстану с дивана, сердце забьется... Его шаги по коридору, и он войдет.

Сейчас 9½ часов. Как все это будет? Читателям так просто перекинуть страничку. А я — ведь жизнь остановилась на этой минуте, дальше нет ничего. Я переливаю весь энтузиазм и холод моей жизни — именно в *этот* миг. (У меня слабо болит голова). И вот именно отсюда — трепет, тоска, вдохновение каждой моей странички, она — последняя, после нее — я не знаю, что будет! Я не принимаю того, чтобы это читалось в 1920–30 гг., потому что я этих годов не понимаю. Последнее живое — это 9½ часов вечера такого-то октября 1914 года. И захлопните книжку.

И — чудо!

Я ошиблась — было 9 часов. Сейчас снова 9½ часов вечера. В вечности хоть раз было повторение времени —

за эти ½ часа было столько чувств, столько озноба, я лежала, потушив лампу, прислонясь к стене, часы тикали —

сейчас снова 9½ часов такого-то октября 1914 года, и будет без 25-ти минут 10, и потом раздастся звонок.

Ожидание — это точно кто-то тихо пьет твое сердце.

Я сегодня думала о том, что я могу — радостно принадлежать — только взрослым мужчинам. Быть первой женщиной в жизни юноши — не хочу.

Как столкнуть его первый пыл — с моей ясностью?

Настаиваю на том, чтобы в меня заглянули поглубже. Я говорю:

– Я отдаю тебе все, я тебе отдаюсь и телом. Это важно? Может быть, да. А может быть, нет. Милый! Давай не говорить об этом! Может быть, это совершенно не важно! Я не в чистом порыве доверия тебе отдаюсь. Я – только потому, что земля летит. Только потому. И потому, что и ты, и я – мы умрем. И еще потому, что так сладко – сразу сломать стены. И еще потому –

ах, лицо твое сегодня прелестно! Тихо. О милый друг!..

– И, отдаваясь тебе, я не позволю себе быть потрясенной. Я улыбнусь. Все важно и все неважно. Все поверхностно и все глубоко. И уже потому я не откажу ни тебе, ни себе, что я обожаю: свободу.

Звонок.

Круг, заключивший его и меня, звучит вот какими словами:

– Вы меня не понимаете, – говорю я полушутя, полусерьезно, – и давайте не говорить о моем!

Он прерывает меня, говоря, что он лучше всех меня понимает. Я качаю головой. Он улыбается; морщинки бегут у его глаз, длинных, серых, властных и ласковых. Я обнимаю его; две полоски моих рук светло легли на его пиджак, мне сладко от его поцелуя. Часы идут. Я стою на коленях, перед диваном, где он сидит, обняв его, я не могу оторваться, я к нему бесконечно привыкла, мне в нем нравится все, я чувствую что-то похожее на преданность, и, должно быть, – на страсть. Он иступленно целует меня, требует обещания верности, и долго смотрит, молча, и потом улыбается; и я совершенно не знаю, что он любит во мне, это такая внезапная любовь, и мне весело, что он на меня не имеет – никаких, самых маленьких, прав.

Но безумная моя голова уже видит тот день, когда, подняв к губам свою руку, я поцелую на ней след от его хлыста!

Но когда разговор заходит о ревности, я презрительно пожимаю плечами на возможность ревновать – к женщинам! И наполовину лишь слушаю, что он мне говорит, что я еще изменюсь, и что «все это – еще молодость!» Говорим о том, что я его так полюблю, что не смогу отойти...

В ушах у меня звенит от какого-то хохота. Глазам больно от «блеска» этой возможности. Я поднимаю к его рту мои губы, и чувствую, что...

Вот. Так будет – сколько времени – я не знаю. И не спрашиваю себя. Судить себя позволяю сколько угодно. Потому, что – еще раз – чорт со всеми. Я не буду жить ничьими измерениями. Раз навсегда.

...Но как безысходно мне сидеть с ним на диване, и пытаться что-то ему объяснить!

Я для него не первая женщина в мире, не «Ася», не все; слова, которые он говорит обо мне – меня бросают в жар, в смех, во что хотите, ибо они самые неприменимые, самые неподходящие ко мне слова! «В Вас есть очень много хорошего, я это чувствую. Милая, простая, хорошая Ася. Способная любить, способная забыть себя. И если бы Вы могли сбросить с себя все это наносное, эту рисовку, эти парадоксы, перестать говорить, что Вы – центр мира и что все вертится вокруг Вас, все, что Вам привилось от этих Ваших друзей – литераторов, Максов Волошиных – Вы бы могли быть удивительной! Верьте мне. Я не воспеваю Вас, и Вы не единственная, есть многие, кроме Вас, но... Ася! Неужели Вы думаете, что мы над этим не думали? Думали, и читали, и все было! Спорили чуть ли не до утра! И я в свое время и учился, и горячился, и что-то доказывал... Но все это – не то. Все это – «так». Заслуга вовсе не в этом! Главное – это природа человека. И мне обидно за Вас, за то, что Вы так ее изломали. Вы одаренная, очень неглупая (я тут неудержимо, неудержимо улыбаюсь, потом беру его руку и тушу мою улыбку о нее – поцелуем, облакачиваюсь о его плечо, и глотаю слова, которые из меня рвутся потоком). – У Вас есть способности, и Вы бы могли эти способности хорошо использовать – нет, не морщитесь, не для других, а для себя!.. Ася! Все эти Ваши слова: «добро, зло, нет ни добра, ни зла, я стою на вершине и пр...» поверьте мне, это только смешно! Я вот вижу Вас: ни на какой вершине Вы не стоите, ничего такого нового Вы не скажете, ничего сверхъестественного не создадите, – но Вы могли бы свою жизнь создать красивой и интересной, а Вы и этого не сделаете. Просто будете ничем. Так: ничем».

– Ничем! – вдохновенно повторяю я, и целую его руку, – ничем!

– Да нет, – прерывает он меня, улыбаясь, – вовсе не тем «ничто», которое, как некто в сером, стоит там где-то во тьме! Нет, а просто ничем не будете!

– Ничем.

– Ну так вот. А Вы бы могли... Не усмевайтесь так. – Целует руку и думает: «Ну, целоваться с тобой можно, но не разговаривать же! Да бросьте же эту манерность, ведь это *смешно!*

– Дружочек! – говорю я, – ну дайте сказать. Я... согласна со многим, что Вы говорите. Но то, что Вы зовете «наносным», я буду называть иначе: «тяжелое». Так вот. Моя природа, может быть, и имеет в себе стремление любить, быть преданной, и т.д. Это так. Моя природа и зовет меня к Вам; мне хорошо с Вами, Вы мне нравитесь весь. Я в Вас чувствую силу. Вы точно герой романа. Так вот, я хочу Вам сказать: измениться я не изменюсь *никогда*; вопрос о верности – *тоже* бросим. Весь этот «хаос» во мне *останется*. Но на время, для Вас, я могу сделаться совсем другой, простой, настоящей для Вас, такой, какой Вы меня любите! Делайте со мной что хотите, я буду Вас слушаться...

Знаю, как многим – вернее, немногим – от этой страницы станет тошно – точно тиной наполнили голову. Но правы ли будете вы, если скажете мне: «Боже мой, с такими она говорит! Такое о себе она слушает! Мерзость, гибель...»

Нет. Вы не будете правы. Ибо гибели нет для меня. Он называет вас – литераторами. Вы назовете его – пошляком. Я... равно подняв лорнет на вас всех, я стою совершенно одна, и спокойна; иногда мне становится скучно, но я улыбаюсь – потому что все вы мне снится – во сне!

Я обращаюсь к Вам такому, каким Вы еще не стали теперь; может быть, старому – будущему. Чисто, холодно, ласково, я говорю:

«Неужели не понимаете Вы, что поцеловать рубец от хлыста – это пламенный *жест*; жест скорее гордости, чем смирения. И что это – миг. И что этот миг ничего не меняет. Что нет «покорных» и «властелинов», что все это – только слова!»

«Подойдите к окну, – как писала я шестнадцати лет, – и смотрите, как неизвестно куда и зачем, плывут облака...» Что такое покорность? Кто победил? Кто разбился? Разве можно разбиться? А если можно, мы все уже разбились давно. Станьте проще, человечнее, менее героичны. Я обращаюсь сейчас к будущим Вашим седым волосам: неужели не чувствуете Вы, что все течет, все уходит, и что никакая страсть не перевернет жизнь! Что тоска могущественнее всего! И поймите – если я стояла, обняв Вас, и просила не уходить, это – много, это – чудо, это – прекрасно!

А сейчас: пустой, истинный, одинокий мой час. Неужели думаете Вы, что я могу жить Вами, когда я любила столько. Столько читала. Столько пишу. Столько жажду!

Да и что такое – любить?

Тихо. Вечер. Я не спала ночь, и очень устала. Лежу, покрывшись пальто, полузасыпая; в соседней комнате лампа горит; передо мной проносится масса каких-то картин... И мне 20 лет. Много и мало. Было 14. Будет 30. Пальто греет. Скоро еду на лекцию по древней философии. Зима. Я Вас не видала неделю. Каждый день я думаю, страдаю и радуюсь. Вас нет. Разве я упрекаю? Разве я Вас зову?

И если бы стало еще чуть-чуть холодней, и я бы не захотела более продолжать этой жизни, разве я бы вспомнила о Вас? Нет. Мне прекрасно одной. Я вот и говорю об этом, и спрашиваю: «Что такое – любовь?»

А вам, юноши, которые хотите стоять рядом с девушкой, которую вы полюбили, я говорю: бесполезно. Потому что случится вам ее оставить на пол-(такие)-часа, и все уже протекло. Все пропало. Она лежала и думала. И вас не было. Может быть, она вас звала. Может быть, не звала. Верьте мне: час на диване – вечность.

Ехали быстро, санки скользили бесшумно, ветер веял в лицо. Белые, глубоким снегом устланные поляны Петровского парка, над ними серые привидения высоких деревьев, мутное зимнее небо, тишь, пустота, да по окраинам – желтые огоньки, которые бегут, бегут, пропадают за стволами, и снова вспыхивают, и снова гаснут; где-то золотая ниточка трамвая, бегущего, потом и она исчезает. Мы. Редкие санки. Позади – огни Яра. Лошадь идет шагом. Изумительно хорошо.

Потом снова мчимся, снег мелькает, выплывает Яр, трамвай, бульвар, и по мосту мы выезжаем на площадь, где справа – бывший Брестский, теперешний Александровский вокзал.⁴ Заезжаем выпить кофе. Высоко над квадратиками скатертей, матовые фонари в декадентском стиле. Говорим о том времени, когда судьба моя обозначится.

О, как странно, как удивительно странно мне говорить о себе, с людьми! Каждый настойчиво и неопровержимо говорит мне свое, и я, сначала слушав с улыбкой, вдруг понижаю, и на мгновение, с тоской, вижу себя такой, какую меня описывают.

В. говорит:

– Нет, это не невозможно, это возможно, чтобы Вы полюбили одного и были ему верны, я же говорю, что Вы гораздо мягче, чем кажетесь. Но все же – я не знаю почему – мне бы этого не хотелось. Видеть Вас, живущей целиком интересами мужа, говорящей, что «нас скоро переведут» и «мы получили Анну» – это... это... будет возможно только тогда, когда Вы сильно опуститесь, потому что: уничтожить свою индивидуальность – Вам, это не так легко, как другим. Вы вот думаете, что я Вас не понимаю. Но как вы думаете: ну, почему я сижу с Вами, разговариваю? Я на столько лет старше Вас, неужели... ну, неужели Вы думаете, что Вы так неотразимы, так безумно хороши...

– Да, – говорю я, шутя, и мой голос серьезен, – я считаю, что я неотразима, очаровательна... Ну-с, так скажите же мне, – продолжаю я, беря в рот пирожное с абрикосом, – что же в будущем моем – стоит на моем уровне? Наташей Ростовской быть мне, стало быть, не годится. Пеленки – согласна. С семьей, с верностью – покончено. Остается – неверность. Переходить из рук в руки!

– Это безобразно! – с легкой гримасой прерывает меня В., – я, Ася, эстет, а это... нечистоплотно, это...

– А, Вас шокирует слово! – чуть подняв голову, улыбаясь, говорю я (сама шокированная словом «эстет»), – ну-с, скажем: любить без конца.

– Любить без конца?

– Да: одного, другого...

– Нет, Ася, это...

– Нет, В.! Это прекрасно. И затем – где же грань: любить двух, трех за свою жизнь – это же не нечистоплотно, нет? Не безобразно? Ну, а десять? А двадцать? Неужели – число?

– Нет, Ася, тут есть... Вы этого еще не можете понять...

– В., я все понимаю!

– Нет, не все!

– Все. Но давайте не спорить. Скажите же мне, наконец, что же стоит *на моем уровне*? Чем бы Вы не были шокированы?

– Вот, если б Вы любили меня, и...

– В., Вы великолепны! Больше всего мне нравится, что Вы так упорно цените себя, и я себя тоже – так упорно! Но если так: не Вы, а другой. Уж не нравится! Боже мой! Но дослушайте: другой, которого Вы уважаете, цените... есть такой человек?

– Видите ли... людей ценных – очень мало. И найти человека – и с головой, и с душой – это почти невозможно. Вы не найдете такого человека, как я...

– Так. Значит, возможно только одно: всю жизнь любить Вас. И 10 человек детей. И пеленки. Головокружительное количество пеленок. Ваша служба...

– Но... Ася!..

– Да нет! Разве я могу что-нибудь из Вас сделать для себя! – говорю я серьезно – и мой голос смеется!

– Почему что-то «делать»? Нет, ничего не надо делать. А вот так, как Вы сказали однажды – ничего друг от друга не требовать...

Я отвечаю с грустью женщины, и с феноменальной гордостью человека:

– Могу ли я «требовать!» Да это же – смерть, конец! О нет, будьте спокойны, я очень легкомысленна, и у меня нет ни единого правила. Как же я могу...

Когда мы выходим с вокзала, я, проходя мимо иконы, перед которой горят свечи, прикладываюсь к ней, прошу В. купить мне свечу, зажигаю ее, ставлю в подсвечник, и, перекрестившись, говорю: «Это я за будущую Вашу любовь!» Мы едем. Огоньки. Снег. «Свечка горит, – говорю я, – когда Вы вот так будете ехать с «нею», Вы ей расскажите это, – что: была, мол, такая безумная девочка...» Он улыбается.

И вспоминаю Л. О какое чудо – каждый! Сколько речей я слушала, сколько пророчеств! И – надо сказать – мне никогда ничто не нравилось, ничто меня не увлекало, кроме слов, вроде:

«Ася, Вы скверно кончите!» или «Асенька, что с Вами будет?»

Л. говорил: «Будет, будет! Не увидите, как это случится, и полюбите Вы человека по-настоящему, всей душой, а не так, как сейчас. Разве это – любовь! «Он» будет! И все будет! И слушаться его будете, и ничего не сделаете, чего бы он не хотел, и в глаза ему будете смотреть, и все забудете!»

Он никогда не сказал, что этим человеком для меня мог бы быть он; нет, именно это он отвергал, с какой-то нежной улыбкой. «Он» – какой-то «герой», «настоящий мужчина», может быть, живописный пастух из горного ущелья, как писал Тургенев об «Асе»!

И помню вечер на волнорезе, он шел, сняв шляпу, море мерцало, берег был осыпан огнями.

«Нет, мужской силой, властью Вас не сломить! – сказал он, – тут нужно другое...»

Что?

Третьего дня, когда у меня были гости и ушли, Б. остался дольше всех, и мы почти до утра с ним говорили. Вот его слова обо мне. Но прежде надо сказать, вкратце, какую меня знал Б., и какую я становилась, и стала, и становлюсь. Он встретил меня шестнадцати лет (ему было восемнадцать). Я была маленького роста, тонка, хорошо одевалась, часто еще ходила в форменном платье и фартуке, носила волосы по плечам, они завивались. Я каталась «лучше всех» на норвежских коньках. Комната, в которую он вошел, была странная, длинная, низкая, с печью посередине, в ней было тихо и точно не в Москве; к ней вела лесенка с истертыми ступенями. Внизу были парадные комнаты, папа, какой-то брат, какая-то сестра. На столе лежали мои дневники, тома Мережковского,⁵ в узеньких и пузатых, старомодных вазах стояли засушенные цветы; на полу ковер; закопченный потолок, шкаф с книгами; что-то наивное в комнате (и именно потому это, может быть,

был «магический кабинет»). Вот тут я жила. Тут я писала дневник, который он, облокотясь о ручку кушетки, слушал; мое лицо было озарено неярким светом керосиновой лампы; я читала; мой голос был тих, интонации – неповторимы. Было тихо. Внизу медленно били часы. За дверью скулила Гера.

Потом я вставала. Я подходила к окну, мы оба становились насмешливы; он обливал иронией Мережковского, я цитировала «Леонардо», я ничего не хотела слушать о Достоевском, которого не читала, и которого хотела никогда не читать. Он ходил по комнате мягкими большими шагами, его волосы были так золотисты и, казалось, сталь звучала в его особенном, обаятельном голосе, в вычурных фразах, тронутых легким сарказмом, в этом «р».

Нам несли чай. Я с прислугой вела себя кратко и повелительно – как с Герой (истинная принцесса!). Мои коньки лежали на почетном месте, на детских санках, у печки. А потом настала весна, была Пасхальная ночь, мы возвращались на рассвете из Кремля, потом – май... Он все серьезнее слушал меня, а я тогда говорила – что в жизни все безнадежно, что я знаю, что я рано умру, хотя обожаю жизнь; что я совсем одинока, что полюбить я никогда не сумею. И вдруг – воспоминание о маме, о детстве; о моих путешествиях; и в голосе – холодок!..

На его глазах я росла, выросла. Вот уж второй год как мы врозь. Я стою перед ним (для иронии – я начинаю с наружности). Я того же маленького роста, но полнее, одеваюсь я, как он находит, небрежно. Волосы мои, как у мальчика, короткие, каймой спадают на лоб. Лицо то же, но знакомые выражения не радуют его, а томят. Тот же низкий красивый голос, я так же люблю стихи, так же смотрю внимательно на каждого, кто подходит. Но уж все – не то. Я – взрослая, я – жена, которая не живет с своим мужем, он – муж, который разошелся с своей женой. Я не так романтична. Я резче, грубей, холодней. Голос мой если повелителен, то он просто груб, и с прислугой я обращаюсь скверно – он удивляется, как она терпит меня. Я увлеклась философией... И уж невольная улыбка трогает губы Б.

Дневник я пишу, и тетради не менее толсты; он слышит, что я их читаю, по-прежнему, вслух... Да! Прежде я была суеверна и даже молилась. Теперь я «проповедую» атеизм, отвергаю Евангелие, смеюсь над Толстым, отрицаю... И уж душно ему со мной! Он прощается – и по холодным улицам –

идет своим четким шагом, входит в свою комнату, закуривает, и мерно начинает ходить взад и вперед. И мосты рухнули между нами! Он уже в своем мире, где спутаны навек: философия, религии, мотоциклы, страсть к охоте и ружьям, увлечения стилями, Гейне, Лермонтов и Сервантес, «История птиц» Минзбира, «Трактат о мозге» проф. Сеченова, восхваление «алкоголя», драки в деревне, деревенские песни, и книги с названиями вроде: «Полезное рассуждение для вразумления», «дабы», «коего»... Я пишу, улыбаясь. Но мне горько. Поймут ли меня?

Вот слова его обо мне:

«Ваше увлечение философией – это «сто двадцатый наряд принцессы» как в одной сказке. Если оно продлится больше года – я буду удивлен. Если *три* года – поставлю на Вас крест. Вы порочны. Когда Вы однажды сказали мне: «Я чувствую, что я гибну» – тогда еще были в Вас остатки нравственности, – но, может быть, Вы теперь более правы, чем тогда. В Вас уже чувствуется разложение. Да, *оно есть*. Я не говорю – даже наверное, это так – *оно очень красиво*, в нем есть что-то опьяняющее, и оно привлекает к Вам людей... Взгляните на свою походку: Вы ходите, как ходит человек несчастный, уставший. Вы *очень* одиноки, Ася. И то, что Вы называете откровенностью, это вовсе не есть откровенность. Это есть страшное *желание* быть откровенной».

Я слушаю. Что я могу ответить? Все и так, и не так. Он берет, по-своему их нажимая, самые темные ноты. Я не могу возражать. Но мне кажется, что тьма во мне – нераздельна с блеском, как блеск неотделим от теней. И от таких разговоров мне душно. В душе остается осадок – я забываю, что ведь эти слова – ничто иное, как последняя его фантазия обо мне – я слушаю всегда серьезно. Но когда разговор окончен, мне нестерпимо хочется стряхнуть с себя – чужой взгляд: и возможность моего будущего с полученной мужем Анной, и то, что я должна на всю жизнь полюбить – В., и живописного пастуха, которому я буду смотреть в глаза, и вблизи которого я «все забуду» и, наконец, разложение мое, – все одним движением руки хочется мне опрокинуть,

засмеяться, восстать,

обхватить руками шею С., или спросить с улыбкой Г., что он обо мне думает, или – если нет никого –

подойти к окну, и откинуть штору (старый эффектный жест!) — или лечь на диван, и закутаться маминой шубой, и медленно становиться собой — настоящей, неназванной, неизвестной...

Если б я была в Коктебеле в такую минуту, я бы, точно сорвавшись с цепи, шурша гравием, помчалась бы к морю; с визгом откинулась бы калитка, я бы бросилась на песок, — Карадаг, тени...

«Я посмотрела бы вверх, вытянувшись на земле всем телом, и закинув за голову руки, поняла бы: я — я. И все, и навсегда. И никто ничего не докажет. Все законы и уверения, как марки без клея, тронув меня, опадают сами собой!»

Было чудное утро. Настоящая весна стояла над полями, белые клубы таяли над ними, стучали вагоны, блестели рельсы, я ходила по коридору, чуть покачиваясь от движения, не глядя в сторону купе, откуда на меня глядели.

Разговор о войне. Я его поддерживаю, точно я что-то понимаю. — «Ну, знаете ли, какое там «рвутся!» Кому охота в петлю лезть!» О евреях — доносчиках и героях. Я слабо заступаюсь за них... Солнце скользит по темно-желтой собольей муфте моей соседки и по стакану кофе со сливками (одинаковый цвет), кофе дрожит, я отпиваю. Пылинки кружатся в солнце. Поляк, сняв кепи, сидит в углу. Прекрасная голова Р., с его тонкими чертами, линией светлых, чуть книзу лежащих, усов, и острым взглядом из-за золотого ринсепез... Едем. — Я стою на площадке. Звонкий мой голос, отдаваясь резонансом в узком простенке, звучит гулко, в такт колесам. Бегут поля, веет теплом.

«Ах, оставьте меня,
Не тревожьте меня,
Вы надежды, мечты
Золотые.
Мне уж с вами не жить,
Мне вас не с кем делить,
Я одна, а кругом —
Все чужие...»

Ах, был друг у меня,
Там, в далекой стране,
Но надолго нас с ним
Разлучили.
Там, под темной сосной,
Над холодной волной
Друга спать навсегда
Уложили...

Так оставьте ж меня,
Не тревожьте меня,
Вы надежды, мечты,
Золотые... - »

- «Золотым кольцом сковали
Мою молодость, друзья,
Замуж вышла, не любя я,
Силой выдали меня...»

Проходит кондуктор. Хлопает дверь. Солнце греет. Платье мое бурно рвется за ветром. Руки холодны. Чудно. Нет прошлого. Я - я!

Снова стою на площадке, пою, открыв дверь. Легкий дым стелется над полями, бегут болота, поросшие невысокой травой, повторяя в себе небо с его синевой и барашками. Я все моложе, моложе, я моложе, чем 3 года назад, гораздо, гораздо моложе... Станция. Тайком от Р., я соскакиваю, и хожу по твердой сырой земле. Вдали лес синее, рельсы, трава, ветер... О, моя жизнь, о, моя жизнь, о - моя жизнь!..

Я снова пою. Господин в сером прошел, взглянул, и не плотно притворил дверь. Мой голос стал веселее. Снова прошел. Лицо тонкое.

Боже мой, да ничего не было, никакого горя! Где оно, это горе, которое было?

Я совершенно счастлива, совершенно невинна, совершенно чиста!

И могу ли я - рассудите - кому-нибудь «принадлежать», быть несвободной, кто может иметь надо мной власть - Р.,

В., никто! — когда, вот так опершись, я стою на площадке, чувствуя, что в коридоре кто-то думает обо мне!

Через два часа я снова стою, солнце ниже, я покою, ветер.

«Сердце ноет в гру-ди,
Нету си-ил ни-и-каких,
Атайди, а-а-тайди-и!

И это:

— «Ты измени-ил,
И льются сле-езы,
И я в тоске-е-е
Не ви-и-жу дня-а-а...
Упреки, жа-а-лобы, угро-озы,
В душе бушу-уют
У мменя...»

И с какой ясностью мне вдруг вспомнилась та зима, 1912 —

— «С пес-ней звон-кой
Шел сто-рон-кой
С Любушкой свое-ей...
И украд-кой
Да с огляд-кой
Це-е-ло-овался
С ней!»
Мать у-зна-ла,
Все про-па-ло,
Лю-бу за-а-пе-ер-ла-а...
Да из до-му
За Е-ре-му
За-а-му-уж а-ат-дала...

Я най-ду се-бе
Дру-гу-ю
Ма-ла-ду-у же-ну,
В чис-том по-ле
На пра-асто-ре
Ди-и-ку-у-ю сас-ну...

Вре-мя мн-нет,
Кровь а-сты-нет,
И прай-де-ет пе-еча-а-ль,

Ма-ла-ду-ую
У-да-лу-ю,
То-о-олько трой-ку – жа-аль...
– Ма-ла-ду-ую
У-да-лу-ю
То-о-олько ю-у-ность – жа-аль...

Эй, вы, ну-ли,
Что вы, да засну-ли,
Бе-е-ре-ги-ись,
Гля-ди,
У-да-а-лы-е,
Ва-а-ра-а-ны-е
Гри-и-и-ва-чи
Мая-и-и...

Камин. Вечер. Мы все. Н.А. перебирает гитару. Уголь ярко горит. Мне 18 лет, я гибну...

Черные складки маминой шубы – бархатно окутывают меня...

Ах! Ветер рвется! Бегут поля. Р. в купе. Боже, пойми меня: было столько... Все прошло!

Станция. Я пропускаю мимо себя господина в сером, он благодарит и ходит взад и вперед по платформе. Второй, третий звонок... Я не гляжу на него, когда он входит, но вижу его.

Повелители! Властелины! Покорная ваша раба, любящая и нежная, я обращаюсь к вам с вопросом: куда мне деть, как мне сжечь, изорвать – мое двадцатилетнее прошлое! Чем мне вытравить из сердца – каждого, кого я любила? Кто из вас, и каким волшебством, заменит мне – хоть бы одну эту песнь, которую пел Н.А., аккомпанируя себе на гитаре? Кто из вас, и как заставит мою память забыть – этот внимательный взгляд господина в сером, который только что прошел мимо меня?..

Любящие! Властелины! Кто так бессилен, как вы!

О, торжество моего одиночества, моего холода, моего права – я этим вопросом моим – раз навсегда – перечеркиваю любовь!..

Как я глубоко, художнически, мученически люблю:
проселочные дороги, грязь, верстовые столбы, еврейскую
деревушку, низко нависшие облака, дождь!..

Брест. Яркое густо-желтое солнце ослепительно залило лица. Солдаты, масса офицеров, сестры. Мы выходим; когда уже прозвенел второй звонок и надо садиться, сзади меня раздается голос: «Андрюша, Андрюша!» Я обернулась: звала женщина в плюшевом пальто и платке; она металась по платформе и спрашивала у всех, не видел ли кто-нибудь маленького ребенка. — «Да что ж это! Я потеряла ребенка!..» — воскликнула она. Я было остановилась, но тотчас же — схватившее меня было за сердце, отпало. Р. звал меня, я, усмехнувшись, пошла в вагон. Сердце у меня билось. Чувства мои были очень сложны; я знала, что Р. за мной наблюдает (впрочем, он не знал, что моего сына зовут — Андрюшей). Но степени моей истинной жалости к этой женщине я измерить бы не сумела: может быть, она была больше, чем я выказывала, может быть, меньше. Я стояла, прислонясь к стенке купе, и не ела пирожков, которые предлагал мне Р. Он кушал. Что-то душило меня.

— Что с Вами? Вы бледны. Вам нездоровится?

— О нет, я совсем здорова, — сказала я, и села в угол дивана. С пирожком.

После Бреста начался закат. Струя дыма, мчавшаяся за нами, стала розовой, все небо осветилось и начало гаснуть, и через полчаса уже на западе тихо горела меж облаков — желтая полоса. Дым померк. Поезд мчался.

Мне принадлежал в этот день довольно красивый жест: я выкинула за окно кольцо, которое я люблю, подарок С.Э. (три года назад, в Париже, у могилы Марии Башкирцевой), старинное, с четырьмя хризолитами. Сделала я это, производя эксперимент, — впрочем, может быть, просто из-за сознания красоты этого бесполезного жеста, чтобы его вспомнить; знать, что мое кольцо лежит на каком-то широком болотистом поле Царства Польского, где, может быть, никто никогда его не найдет.⁶ За чаем вышел любопытный разговор. Р. твердил, что не может видеть меня любящей нескольких, что тогда ему лучше уж ничего не надо, чем такую любовь. Я отвечала ласково, софистически, весело, устало, шутя; вдруг сказала, что я буду первой женщиной-философом... Потом ластилась,

обещала, брала назад обещания, и, наконец, нашла себе по сердцу весьма милую роль: требовать, чтобы он на мне женился (женатый – на мне, которая замужем). Он улыбался. Я «оскорбленно» говорила, что «конечно, на таких женщинах не женятся», все глубже, все дальше; я начала утверждать, что «это» даже и не есть любовь, – ибо «мне закрыты пути» – а уж если я полюблю, то стану самой яростной женщиной, отниму все дела, все книги, всех близких... Тон мой был горд и красив. Господи Боже! У меня никогда не хватит рвения даже для того, чтобы обойти 3 раза алтарь, не то чтобы еще ревновать и заточать себя *tête à tête* – в терем!.. Но какая-то странная, тревожная горечь залила меня, когда я, отставив стакан, встала с дивана «с улыбкой тонкой», и вышла в коридор, и картинно прислонилась к окну! Затем я вернулась в купе, взяла коробку шоколада, и снова вышла с ней в коридор. У соседнего окна, спиной к нему, стоял господин в сером. Я подошла к нему и молча протянула ему раскрытую коробку. Он очаровательно улыбнулся, изящно дотронулся до шляпы, с легким поклоном взял щипчики, ими взял маленькую конфету и, все так же улыбаясь, поблагодарил меня. Я стояла у своего окна, внимательно выбирая конфету, слушая, как у меня бьется сердце, и не в силах не улыбаться. Пропустив секунд 30 времени, он обратился ко мне с вопросом насчет города, куда я еду. Я ответила, что в Москву. Он сказал, что едет на несколько дней в Смоленск, а оттуда в Москву, где пробудет неопределенное время. Я узнала, что он архитектор, и что сейчас дела в Варшаве – стали; тут же он сказал, что свой отъезд он смог бы назвать бегством, трусостью, и непременно бы назвал, если б... Я его прервала, сказав, что спастись от смерти – правильно и естественно, великолепно... Улыбаясь на мою наивность, он мне объяснил, что это не согласуется с чувством гражданина, что оставлять в опасности «свой город и своих женщин...»

«Потому, что, неправда ли, если я имею мать, сестру и жену, я спасаю их; но если у меня их нет, то я обязан своими считать всех женщин, и тогда...» Легко, в полушутливой форме, у нас начался спор. Мы спорили о чувстве трусости и геройства, о спасении, и спасении, о тех англичанах при Титанике, которые, сказав: «*oll right*», прыгнули в воду, уступив свое место женщинам. Тон его голоса был бархатен, уверен, но порой смущение прелестно пробегало по его лицу –

когда ему приходилось подбирать слова. Он извинился в этом, сказав, что он – поляк. Тяжелые веки над большими глазами, красивый, с горбинкой, нос, и обаятельная улыбка, скользившая по губам как бы неудержимо, и тогда его лицо становилось совсем юношеским; лицо было бритое, и была в нем – в некоей орлиности черт – неизъяснимая, властная прелесть. Четкой чертой огибая надбровные дуги, черные брови оттеняли карий блеск глаз. Надо лбом возвышалась черная котиковая, высокая шапка.

И показалось мне в тот миг, что если бы он услышал возглас той женщины – остались бы мы с ним, бросив багаж, – в Бресте!

Мы стояли наискось от дверей в наше купе, и говорили. Р. встал, стал на пороге, оглядел нас (блеснуло золотое *ripincepez*) и вошел обратно. Минут 10 спустя он запер дверь купе. У меня лицо не дрогнуло, и мы продолжали разговор. Мы говорили о Достоевском, об Иване Карамазове (я доказывала, что именно он, а не Алеша, был любимым героем автора – но от этой любви было слишком больно, о ней было слишком трудно сказать вслух!). О философии. Я говорила искренно, но выходило парадоксально – у меня было слишком мало времени, слова шли скачками. Он слушал со вниманием, отвечал умно, тонко, схватывал мысль на лету. Вскользь, он сказал что-то о русских женщинах, – он их совсем не знает, и вот первая русская женщина, которая...

– И последняя! – закончила я с горячей волной тоски и протеста, которая хлынула через меня при этих словах.

– О нет, почему! – отвечал он, – я столько слышал о русских женщинах, что они так умны, так... дельны...

– О, я совсем не дельна! – жалобно и насмешливо проговорила я.

– Нет, я хотел сказать...

– Нет, я Вас понимаю. Но все-таки, вряд ли когда-нибудь... Впрочем, ну, да, мы не о том. Так вот, видите ли... Вы... я...

Поезд летит. Колеса стучат. Тише. Станция.

– Пойду посмотреть – говорю я и выхожу. Через минуту он выходит тоже, поезд трогается, вскакивает проводник, колеса стучат, вечер прохладен и темен. На горизонте, далеко – цепь огоньков. Мы говорим. Мои руки замерзли, холодно, ветер рвет платье и короткие волосы, открывая мой лоб. Я вынимаю из сумочки визитную карточку с адресом и

телефоном и даю ее моему собеседнику, говоря, что если он будет в Москве... Он кланяется (ах, как досадно, с ним сейчас нет его визитной карточки) – «позвольте представиться» – он называет фамилию, которую я плохо слышу, она начинается на «Н.» (В это время мимо нас проходит тот поляк, с которым мы ехали с Р., в общем купе, сначала).

Мы говорим об атеизме, о Льве Шестове (он его читал), я обещаю ему подарить книги Розанова, рассказываю о выброшенном кольце; он слушает меня внимательно, поправляет, направляет, любит, говорит, что никогда не говорит комплиментов – и этим говорит комплимент... Я отвечаю, что я – исключенье из женщин, исключенье, в которое он не верит, – что я не люблю комплиментов... С обаятельной своей улыбкой он отвечает, что не хотел бы верить в такое исключенье, «был бы разочарован...»

– Мне хочется Вам сказать, что у Вас – прелестная улыбка! – говорю я. Он смущенно кланяется. – Ему тридцать лет. Он долго жил за границей, в России не был никогда. – Говорил о забвении. Я цитирую строчки:

«Die Welt ist gar zu lustig,
Es wird doch alles Vergessen!...»⁷

– Забвение! – говорит он, – если б мы не забывали, мы бы тотчас же умерли, мы бы не могли жить...

Я говорю о своем раннем замужестве, – ах, так это не муж мой?, а он думал, что я еду с мужем.

– Нет.

– Семнадцати лет я ужасалась этому немецкому изречению, а теперь я его люблю...

Узнав, что моя бабушка была полька – урожд. княжна Бернацкая,⁸ он говорит (о, поляк!), что во мне одна четверть крови – польской, как я сказала, а... Но я, несмотря на такую любезность – «предпочитаю быть русской». Уже около двух часов длится наш разговор. Я думаю о Р. с легкой тревогой (как он встретит меня? Как я войду? Что я скажу? Ah, qu'importe!).^{*} Один раз я даже чуть не сказала, что «вот сейчас, из-за этого разговора» – но удержалась. В ответ на мой рассказ о кольце он восстает против экспериментов, боясь, чтобы

* Ах, не все ли равно (франц.).

таким образом я бы всю жизнь не сделала экспериментом. Я смеюсь, возражаю.

— О, я люблю эксперименты, — говорю я. — Я люблю, например, держать в руке коробку конфет, и думать: предложу я конфет или не предложу?

Он улыбается. Я чувствую — словно волну его восторга, у меня от нее в голове — чуть туманно!.. — она меня обволакивает, да — неподдельная радость в его почтительном обращении со мной. Наконец, я подаю ему руку, говоря, что теперь я прощаюсь, потому, что...

— Вы уже идете спать? — спрашивает он удивленно.

— Нет, я не иду спать — отвечаю я, — но мне надо идти. Итак, приехав в Москву, Вы мне позвоните. Когда Вы будете в Москве?

— Дня через три, четыре...

— Ну, вот. Если я буду занята — вечером я на лекции, то...

— О, я бы не хотел, чтобы из-за меня...

— Поверьте: я всегда делаю только то, что мне хочется...

Он кланяется, улыбаясь, и осторожно жмет мою руку. Я открываю дверь и вхожу в вагон. Купе Р. закрыто. Я вхожу. Он лежит, вниз лицом, на диване, и мне вдруг становится так жаль его, так искренно... Но, ведь, я — счастлива, и что я могу с собой сделать? Все течет, все течет!

Я сажусь рядом с ним, «утешаю» его, капризно прошу «оставить этого поляка в покое», говорю, что он очень мил...

— Вы, конечно, уже дали ему свой адрес? — говорит он (он шутит). Похолодев, я отвечаю, что «мы с ним говорили о философии». — Я ласкова. Он уже улыбается. Мы выходим на площадку, но там разговор наш скоро пресекается: Р. называет меня «золото» (нежно), я говорю, что я вовсе не золото, что я вот такое золото, что дала адрес «этому поляку». Он не верит. Я утверждаю. Он входит в вагон. Я стою, прислонясь лбом к стеклу, за которым бегут ночные поля, думаю о том, какая жизнь — скучная. Войдя в коридор, прохожу, молча, мимо моего нового знакомого (он сидит на откидной скамеечке у окна и, как будто читает газету); наши глаза встречаются, я иду в купе и затворяю за собой дверь. Поздней, я стою, одна, на площадке, за мною приходит Р. и уводит меня ложиться — проводник уж постелил постели. Мы идем по коридору; в конце его стоит господин в сером. Я вхожу в купе, и уже не выхожу оттуда до следующего дня.

Город, где выходит «Н». — утром. Сплю я долго. Когда я встаю, уже день на половине, и мой вчерашний собеседник давно сидит в какой-нибудь столовой, пьет чай; или говорит с кем-нибудь.

День, только что начавшись, кончается. Темнеет. Бегут поля со снегом, холодно, пасмурный день, грустно. Я стою на площадке, курю, выходит тот поляк в кепи, и заговаривает со мною о «роскошных женщинах в Москве» и их «роскошных бриллиантах».

Потом — вечер. Мы сидим с Р. в купе, говорим. И часам к девяти мы подъезжаем к Москве. Я говорю, что мне сейчас же надо по делу, прощаюсь с Р., он трогателен. Но когда его фигура скрывается за дверями, я, вздохнув, вхожу в залу буфета, и сажусь пить кофе. Хорошо — я одна. Мне хочется спать, быть дома... я выхожу. Хмурый и мокрый вечер. Нанимая извозчика, я сталкиваюсь с поляком с кепи. Он сменил кепи на черную шапочку. Узнает меня, я ему с улыбкой протягиваю руку, и вдруг чувствую, что сейчас он что-то спросит меня.

— У Вас есть телефо-он? — говорит он. — Я могу позвонить?

— Да, у меня есть телефон, — говорю я, делая вид, что не поняла, — до свиданья.

Он задерживает мою руку. — Вы мне дадите номер?

— Видите ли, — говорю я, — я так занята, и меня очень трудно застать...

— Но, может быть, я Вам дам свой телефон — он... — говорит он (он думает, вероятно, что я боюсь кого-нибудь?).

— Да видите ли, — говорю (делать нечего! О — дурак!), — мы с Вами так мало знакомы, что...

— Но можно познакомиться, — говорит он, глупо улыбаясь.

— До свидания, всего хорошего, — говорю я, нахмурясь, и, по лужам, с корзиночкой в руке, быстро направляюсь к трамваю. Я сажусь в номер шестнадцать. Сердце у меня бьется.

Я опустила лицо на руку, облокотилась о подоконник, и так сидела. Сердце стучало возмущенно, должно быть, какая-то горечь залила меня, — впрочем, скоро утихло, и я смотрела, как мелькали знакомые улицы, вспоминала Р., и этого незнакомого «Н», к которому я чувствовала нежность,

и который казался мне как бы защитником – в эту жизненную, горькую минуту мою!..

И, после всего, люблю мне сидеть на дрянном московском извозчике, и по изрытой мостовой ехать в свою улицу от Зоологического сада. И говорить с извозчиком (старик).

«Полиция-то чего смотрит? Все рессоры переломать можно!! А?».

Жду пана Леона Н. Вчера он был у меня. Кто он? Он – не мыслитель. Он – прелестный мужчина, великолепный герой романа, и – умный человек. Он знает, что женщина – всегда только женщина, и рад тому, что не было среди них гениев (музыка, живопись – области им открытые). Очевидно, что мир двигает никто иной, как мужчины.

В жизни главное содержание – любовь. Она аналогична смерти, с нею нельзя бороться, и потому –

«Вы молоды! Вы еще – не любили! Это все были – суррогаты любви!»

Я бессильно молчу, уронив на колени руки, поднося к губам папиросу, которая вспыхивает жадным огнем...

Он говорит, что я – ребенок, он не видит пламени моих мыслей. Он – из тех, которые говорят, что все изменяется, и что «и Вы не знаете свою судьбу!»

Несколько жестов, прелестных; красивый жест, подняв голову, *trois quarts*, глядеть сверху вниз; и дрожанье улыбки.

Это человек жизни, наслаждения, красоты, искусства, любви. Страсти!

И уже душою я – с Т., но он не идет, и, может быть, через час, я буду и от него далека.

Я люблю только – незнакомых. Случайное лицо на улице. Того студента, который в 1911 г. весной ехал в Грецию, и приходил к папе за справками – я просила его передать мой привет Афинам. Того, который меня поддержал, зимой, на

* На три четверти (франц.)

скользком тротуаре. Каждого, кто мне с уважением поклонится. И их я не забуду. Но к близким я подчас так холодна, что даже не знаю: люблю ли я хоть кого-нибудь, или нет!

А половой вопрос, как он сложен и безысходен. Вот В., казалось, открыл мне что-то; но в общем, во мне ничто не дрогнуло, и я все та же. Быть в связи мне всегда более неприятно, чем приятно. Я устаю. Меня раздражает бархат движений и ощущений, я рвусь к кому-то, куда-то, мне хочется быть одной. Ах! Как бы ни было красиво небо в окне, манжеты на столе – всегда безобразие; и как бы ни любила я человека, жить в одной комнате – отвратительно.

Пусть днем – на празднике, в сафэ, а вечером – в театре. Но ночь и утро – пытка. Жарко, душно, односторонне, и, главное, в это уходишь с головой! А над головой в этот час – небо, и где-то деревья качаются. И в Cannes* все так же – у маленькой laiterie** – стоит ослик с тележкой...

Ах, сколько раз это будет!

Темный ковер, блеск зеркальных шкафов, кружево занавесок, звонки кельнеру, электрический свет, письменный стол с листами Hôtel'ной бумаги... Снизу, глухо, из ресторана, обрывки музыки; далекое рычание автомобилей. Диван. Вечер. Я тушу свет...

Но даю слово, и, кажется, мне можно поверить, ведь мне не 15 лет, – из самых горячих объятий, от самого жадного поцелуя, я по первому зову, спокойно и скучающе оторвусь, вспомнив, что в Nervi играет музыка, что кто-нибудь с кем-нибудь познакомился, что по гравию французского садика бежит девочка, у нее волосы по плечам!

Ты, который меня обнимаешь, и которому я отдалась, я тебе изменю ради первого иностранца, который проходит внизу под нашими окнами!

О, я гораздо глубже люблю того, кто меня не знает, кто меня видит в первый раз, чем того, кого я целую и кому я принадлежу!

И с каждым (с этим самым «незнакомцем») все идет к этому. Да и я, пожалуй, сама иду к этому, – потому, что разрушаю границы. Потому, что пишу: «Берите, мне 20 лет больше никогда не будет. Почему я вам откажу?»

* В Каннах (франц.)

** Молочный магазин (франц.)

Могу ли я, могу ли – прижать к губам руку этого незнакомца, и, в ответ на его прелестное движение меня привлечь к себе, сказать: – «Милый друг, я тебя сейчас люблю больше, чем буду любить через час. Через час все будет кончено. Ты меня потеряешь. Я ничего не боюсь, даже порока, но позволь сейчас тебе не покориться: ибо я не хочу тебя потерять».

Нет, я этого не скажу. Я улыбнусь и положу ему голову на грудь; буду слышать, как его сердце бьется. В голове у меня будет шум, тоска, волнение. – «Еще раз!» подумаю я. – И чем более доброй я буду, завтра, тем будет рельефней, резче – совершенный мной компромисс. И ты тут совершенно бессилён. Все бессильны. Я сама бессильна. Идти на это – надо, потому, что *минута требует. Но этой минутой и кончается все.* И когда ты меня раздеваешь – уже все потеряно. Ты уже не «незнакомец», и я от тебя далека, «власть имеющий!»

Но я боюсь, что меня поняли неверно. Я говорю не против мужчины, и если бы я была им, я бы то же самое говорила. Вместо «манжеты» я сказала бы «ленточки» и «корсет».

Я не против мужчин *восстаю*, а против *основы*.

Чего я хочу, этого нет, я это наверное знаю. Потому, что – вот чего я хочу:

Чтобы встретя меня, человек бы забыл, что я – женщина.

Но если он это забудет – я буду его презирать.

Чтобы слушая меня, он понял, что я философ.

Но если он в этом будет моложе меня – я тихонько вздохну.

Чтобы он знал, что я – единственная женщина.

Но если он будет знать это – всю жизнь, у меня будет тоска, и, может быть, вражда, и, может быть, раздражение потому, что на мне ответственность, а я ее не хочу.

Чтобы он никого после меня не любил.

Но я его пожалею, и мне станет немножко смешно!

Чтобы он не был ревнив, потому что тогда я стану Ириной из «Дыма».

И чтобы он безумно меня равновал!

Чтобы он был развращен, сладострастен.

Тогда я буду ему говорить, что я люблю только спокойных людей.

Чтобы он мог меня задушить.

Но тому, кто меня задушит, я говорю заранее, что это... нехорошо. — И как не удержать своих рук — в рискованную минуту?!

Чтобы он знал, что для меня все безысходно.

Но чтобы он меня непременно «спасал».

Чтобы он был всегда неожидан и неизвестен.

Но это меня утомит.

Чтобы он был тих и ласков, и все принимал.

Но в иные минуты я буду над ним смеяться!

Чтобы человек был одновременно и Маврикием Николаевичем, и Ставрогиным.*

Но за такое сочетание я буду его презирать.

Я хочу, чтобы он не мог отойти от меня, и чтобы он отошел — тотчас же.

И если б я была принцессой из сказки, моей загадки не разгадал бы никто. Ни Иван-Царевич, ни Иван-Дурачок, ни волшебник, ни какой-нибудь заколдованный принц. И мне бы пришлось стариться и желтеть на глазах у всех, в моей высокой башне, — не помогли бы ни сказки Гримм, ни Перро, ни наши русские сказки...

Но я не принцесса, и мне только двадцать лет, а я уж столько раз верила в принца!

...И какой хочешь, ты меня можешь сделать: ласковой, остроумной, задумчивой...

Блажен, держащий сердце мое — в руках.

Могущий замедлить свой шаг у дверей моих.

Имеющий впереди — всю сладость

Начала любви ко мне!

* Возможно, здесь типографская ошибка. Следует читать: «Александровичем» (Ю.М.Каган).

Заводила граммофон, гадала по пластинкам, любит ли меня М.А. или нет, полюбит ли, счастлив или несчастлив сейчас. Все выходило так, что у меня сердце билось сильнее и сильнее; когда забилося очень сильно, и я остановилась посреди комнаты, в волненьи, и у меня голова кружилась, я вдруг сказала себе:

– Я позову его, сегодня. Странно, что он был только что вчера? Пусть. Я скажу так: «Я соскучилась». Ведь, это правда. Я сегодня весь день думаю о нем.

Не подумав, я пошла к телефону, и позвонила по первому номеру. Молчание. По второму. Он дома.

– Я слушаю (его голос, какой чужой!).

Меня не охватил холод, и я сказала спокойно – но голос был не мой: «С Вами говорит Ася».

– Здравствуйте.

– Здравствуйте. Я о Вас соскучилась. Приходите ко мне сегодня. Ах, не можете? Как жаль. Да, я понимаю. Ну что ж, тогда – как мы условились?

– Да.

– До свиданья.

– До свиданья.

Мой голос тих и холоден, его – тих и смущен. Я подхожу к зеркалу, что-то во мне пылает, сердце бьется; я вхожу в комнаты, завешиваю окна, делаю вечер, сажусь писать.

Он едет вечером на вокзал. Ему сейчас – скверно. Пустяки, М.А.! Стоит ли! Все пустяки, все пройдет! А-ах, правда!.. Я спокойна, совсем, холодна, так о чем же? Скорее забудьте этот странный маленький инцидент, и поверьте – я очень жалею, если Вам причинила боль!

Ах, все вздор, все вздор, все... – вальс играет. Где-то не тут, а там, где все возможно, где мои любимые реки по-любимому текут вспять, – бал. Вы и я. Диадемы огней.

Я положила Вам на плечо мою руку.

Ваша рука легко касается моей талии, качание, звон, тимпаны, фанфары гремят, вся музыка мира, сердце мое расширяется, бьется, Ваше холодное и милое лицо рядом с моим... Что это? Веселие? Смерть? Все кружится...

Короткий звонок телефона.

Снимаю трубку: «Я слушаю».

– Это говорит М.А. (он, голос тихий).

– Очень приятно.

– Я хотел спросить – между десятью и одиннадцатью не поздно будет?

– Пожалуйста.

– Ну вот. Мне *очень* приятно.

– Я Вас жду.

– Я буду (голос серьезный).

– До свидания.

Кладу трубку. Не вижу няню, не вижу Андрюшу, мимо них мчусь в свою комнату, падаю перед диваном на колени, и целую подушку, погружая в нее безумным жестом лицо!

Когда я, обманув всех, что меня не будет дома, что меня спешно вызвали на вокзал и что Новый год мне придется встретить, вероятно, на перроне, в ожидании опаздывающего поезда, вернулась (в 11 часов) домой, М.А. был уже у меня.

Новый год мы встретили бутылкой литовского меда, и курением разных папирос. Пили чай. Время шло. Я прочла ему мою сказку о человеке и кирпичиках (она ему очень понравилась), и несколько отрывков из дневника. То место, где я прошу меня оставить в покое и не учить меня жить, он назвал самым лучшим из всего, что я ему читала.

– Это удивительно, это прекрасно! – сказал он.

О В. – его слова о моем будущем (на Брестском вокзале) он просил прекратить читать.

– Это все просто ужасно глупо, и после того, что Вы прочли...

И когда, уже глубокой ночью, наш разговор стал до конца откровенным, я сказала ему о многом: о моем холоде, о глыбе льда, о том, что я иду к полной жестокости – в жизни, с абсолютно чистой душой. С ним удивительно то, что он так прекрасно понимает шутку, намек, иронию, и сам так красиво и тонко шутит. Это ранит. Иногда он опускал голову в руки, и так сидел, слушая.

– Сильный человек должен взять жизнь – так в руки, чтобы... пьянеть от нее! – сказал он: Он все понимает. Он сам такой.

Он говорил о своем непонятном равнодушии к жизни, и о том, что ему было бы очень легко убить себя, и что, кажется, он не может себе представить возможность почувствовать

какое-нибудь настоящее горе. Он очень, очень умен. Очень тих. Очень обаятелен. Очень неизвестен.

— Я, пожалуй, иду к тому, чтобы брать жизнь в руки, — сказала я, — по крайней мере, вот уж год, как я делаю всегда только то, что хочу...

— И продолжайте так поступать! — сказал он серьезно. Я улыбнулась. Мы курили, молчали, потом снова начинали говорить.

Когда в семь часов, он встал, чтобы уходить, я просто и спокойно спросила позволения поцеловать его руку. Когда он сказал, что нет, я возразила с улыбкой:

— Но если я этого хочу? Вы что же, меня спасаете? Не стоит! Я ни за что не погибну! Но этим Вы доставили бы мне — удовольствие.

— Я принужден Вам его не доставить! — сказал он (он стоял передо мной, я сидела на диване).

— Я этого не понимаю, — сказала я, — почему? Не все ли Вам равно? С другой стороны — Вы ничего этим не достигнете, потому что мысленно я это сделала.

— Так вот, это и не требует исполнения, — сказал он, и улыбка дрогнула в его голосе; голос его был и серьезен, и тих, и ёмкий, и холоден.

— Да, может быть и не требует! — ответила я, — но я бы на Вашем месте не возразила. Почему Вы... Или уж это так на меня не похоже?

Я курила, и улыбалась, и глядела ему прямо в лицо, но черты его видела смутно.

— Наоборот, это, может быть, *слишком* на Вас похоже, — ответил он, — но я все же не исполню Вашего желания.

— Что делать! — ответила я, вставая. В передней я зажгла свет, поправила перед зеркалом волосы, смущения я не чувствовала никакого. Наш разговор был легок, шутив, серьезен, не разберешь, — о, легкость и тяжесть таких разговоров!

— Когда же Вы придете ко мне? — сказала я, облокотясь о буфет. Он стоял передо мной в шубе, с воротником из сконкса, его лицо глядело из рамки меха, и большие глаза улыбались, и губы чуть дрожали под усами.

— ...или совсем не придете?

* Взволнован (франц.).

– Может быть, Вы хотите сделать перерыв, лет, например, на пять, на десять... Вы не стесняйтесь! – продолжала я. – Я, право, всякий срок перенесу! С одинаковым удовольствием увижу Вас завтра и – через десять лет...

– Я не только не сомневаюсь в этом, но я даже думал о том, почему Вы сами не отдаляли нашу следующую встречу на десять лет, – проговорил он.

– Я предоставляю это Вам – сказала я.

– Я часто уходил от знакомств, – отвечал он, – но сейчас Вам надо вспомнить, что я уже столько лет жил вдали от людей, что...

– Пожалуйста, не стесняйтесь сроком!

– Я... обожду, пока, назначать большой срок.

– Великолепно. В таком случае – когда мы увидимся?

И мы решили.

Я отворила ему дверь, он крепко пожал мою руку, и – замок щелкнул. Было утро. Я вошла к себе, разделась, потушила свет и легла.

Два чувства: будущее – бесконечно.

будущее – наперечет.

Сейчас главный, о ком я думаю – М.А.

Счастлив он мной или несчастлив? Совсем ли ему все равно?

Чего я хочу?

Что будет?

Чем кончится?

Люблю ли я его?

Жизнь тиха. Колокола звонят. Вечер.

Чего я хочу?

Любить его? Может быть.

Вальс играет. Я целую его маленький кожаный портсигар, который он мне подарил.

Я стою, прислонясь к вешалке, не зажигая света. Рассвет. М.А. стоит передо мной в пальто, держа в руке книги и шапку.

Я его вижу слабо, почти не вижу лица. Я вижу белый блик (лицо), окруженный чем-то черным (мех). Мы шутим. Мы все время шутим. Я устала. Он хочет идти. Я все не отпускаю его, он называет меня безжалостной принцессой, — ведь, он не успел отдохнуть до занятий. Я прошу его подарить мне золотой мячик, чтобы я им играла в саду, как в сказках. Я очень люблю мячики. Он просит меня начинать заниматься, говорит, что это ему будет толчком к тому же, а я говорю, что поеду его провожать на вокзал, когда его возьмут на войну, и на сутки приеду ухаживать за ним, если он заболит.

Когда я прощаюсь с человеком, мне всегда кажется, что я вижу его в последний раз.

Я не вижу его лица, но чувствую на нем улыбку.

Черный силуэт, белые пятна рук, держащих шляпу. Утро? Ночь? Все — призрак, все — сон. Мы выходим. Через косые vitreaux стеклянного коридора падает ранний свет.

Только что ушел М.А. Далеко — колокольный звон. Мне нечего записать. Ибо он — мой друг на всю жизнь, ибо я очарована им без остатка, и от того так шутливы речи мои!

Как передать вас, переходы от шутки к серьезному, шутливое и серьезное — вместе,

как мне рассказать тебя, ночь, час за часом...

Как передать вас, очарование, прелесть его лица?

И беспорядок комнаты, запах папирос, массу окурков, упавших на пол, шкуру, отодвинутый стол с распахнутыми тетрадами, и это короткое пожатие руки?

Я буду умна — я скажу: он умеет стоять на голове и ходить на руках; любит лежать на полу, и прекрасно танцует. Он слушает граммофон без негодования. Он... «идеал»!

Я буду умна. Я скажу: я люблю его. Тут мне дастся право — оставить белым листок, ибо любовь — чувство тонкое, и мне простится...

М.А.! М.А.!

Думаю о нем. Мне хочется его видеть. Просто видеть его, слушать голос, смотреть (еле вижу от близорукости) на улыбку, шутить, парировать шутку, лежать на диване, помешивать чай, быть милой.

Люблю ли я? Я очень близка к тому, чтобы полюбить.

И что же я чувствую, если не любовь, тихую и бесполезную, когда он, опустив голову на руку, говорит тихим голосом:

— Я вообще мало думаю. Потому, что тяжело — думать.

И буду ли я неправа, если когда-нибудь — хотя все удержимо — встану, подойду к нему, опущусь на колени, и молча буду целовать его руки?

Пили кофе, слушали музыку, курили. Я чувствовала, что смутность дня, поздность часа, слабость сердца с ним сделали то же, что со мной. Он был еще шутливее обыкновенного, и шутил о вещах все более серьезных.

Я сказала, что хотела бы умереть в вальсе. Он ответил, что на это — он всегда был бы готов. На мой рассказ о том, что я пила эфир, он мне сказал, улыбаясь:

— Вы больше этого никогда не будете делать.

Я мешала кофе ложечкой, глядела на гроздья люстр. Он передал мне один свой сон, виденный им в самом начале знакомства со мной: я у него в гостях; я лежу на великолепном мягком диване и пью из синего граненого стаканчика ликер, а вдали, в самой далекой комнате, звучит оркестр музыки. Собираются гости...

— Но это еще — все будет! — сказал он, выпуская дым и следя, как он вьется над папиросой.

— Будет... — эхом повторила я, поднося к губам чашечку.

Но я вижу, что грубо и ясно описываю то, что было сказано тихо, шутливо, в клубах дыма, в клубах музыки, так тихо и так шутливо, что, может быть, и вовсе не было сказано.

Мы вышли и пошли пешком. Всю дорогу и у моих дверей мы продолжали шутить о вещах... почти что смертельных: о смерти, о войне, о расставании.

Да, вчерашний вечер был странен. Должно быть — он любит меня. Мне теперь кажется, что дни его смутны, как мои, особенно те, в которые, вечером, он меня увидит.

Я прислушиваюсь к себе — и — странно: сейчас я как будто спокойнее (меньше томления), чем вчера и третьего дня. Что это, довольство собой? Радость победы? Что это, я, кажется, готова почтить на лаврах? — И, неужели, когда он меня полюбит, я буду его меньше любить? Ведь я знаю, что даже

если он меня безумно полюбит, если «выпустит вожжи» (о чем мы все время шутим), то ведь это будет так же, как я, не иначе. Неужели я это забуду, и почувствую ответственность и тоску? М.А.! Не любите меня! Не верьте мне. Не скажите мне великих слов, ибо я, наверное, их не пойму, ибо я жду только победы, ибо я недостойная своей королевской короны, ибо наступит миг, –

когда я не пойму ни жертвы Вашей, ни легкости ее, ни глубины, ни Вашей нежности, ничего не пойму, – миг, когда я перестану Вас понимать, – только за то, что узнаю твердо, что Вы меня полюбили! Я Вас уважаю, себя нет.

Помните (о, сколько раз я восстану против этих слов!), что во мне, вопреки всему, – живет та женщина, о которой сказали, что к ней надо идти – с плеткой.

Все это я говорю с высоты ума. Над всем этим я смеюсь моим женским сознанием.

– Я несу плетку, М.А.!

– Нет, я ее не вынесу!

Ну, разгадайте-ка!..

Я только поговорила с час по телефону, и я уже совершенно разбита! Сколько требований, просьб, предполагаемых разговоров и встреч, сколько нежности от трубки к трубке, и, главное, – сколько планов, касающихся меня, как подумаешь, что всему этому не суждено вовек осуществиться, – знаете, как-то даже грустно становится!

Каждый из моих друзей и из женщин, любящих меня, хлопочет над моим будущем, и стремительно устраивает мою судьбу. Я киваю, обещаю, соглашаюсь, да, это нужно, я понимаю... (сейчас 11 часов утра).

Два часа ночи. Тихо. Все вы спите, мои друзья (кто в объятьях вам близких людей, кто один со сновиденьями), – а в моей тихой маленькой комнатке верно горит огонь; (по Андрееву: «Огонь в ночи опасен. Для тех, кто блуждает? – Для того, кто зажег»). Но бросим Андреева, и с ним всех писателей мира. Сейчас 2 часа ночи. До писателей ли?

Я. Он. Да, ночь. Но не беспокойтесь: мы чрезмерно далеко друг от друга. Он на одном диване, я на другом. Где-то часы тикают... Удивительно – тихо. Удивительно – безнадежно. Удивительно – хорошо.

Мне решительно нечего *делать* на свете, если я не учу философию. Сейчас объяснюсь.

Встаю. Час дня. Свет, яркое солнце, снег, блеск синего неба... Я только что встала; еще не одета – и гладко лежит передо мной – моя дальнейшая жизнь.

Что делать?

Что делать сегодня? Что делать всю жизнь?

Вот ночь с М.А. Ею разрушен еще раз смысл чтения и учения, и указан смысл: лежать на ковре, читать Пинкертонa, пить вино, любить маскарад, быть веселой.

Но что мне *делать* в этом веселье? Вот я встала. Я весела. – Но как мне грустно!

Как я хотела бы, чтобы вошел М.А., сел в кресло, мы бы курили... Вот это – веселье. Вот это – жизнь. Но что есть – помимо?

«Рухнули надежды» еще раз. Еще раз я, как в тумане, смотрю на Платона и Виндельбанда.⁹ Еще раз кладу на горячие глаза – руки, в моем «тихом» веселии. Еще раз я смотрю вперед с любопытством:

как я умру?

Сойду ли с ума?

Что будет?

Мне так легко сорваться со всякой орбиты! Приблизить конец на много. Мудрость. Безумие. Как часто эти две вещи меняют места!

Что делать сегодня? Солнце горит. День пройдет. Земля летит. День – как весенний...

Подойти к полке, взять «Логикy»,¹⁰ взять Виндельбанда, искусственно наполнить свой день часами и полчасами!

Что делать? Где правда? Где я сама?

Знаю: подойти к граммофону, завести вальс, слушать, кружиться, в тоске, потом упасть на ковер, обняв мягкий диван, пить чай, есть сладкое. Радоваться, что уже 3 часа, 4 – солнце кинет длинный луч, потом вечер...

Вот, должно быть, что делать – всю жизнь!

Я провожу с М.А. ночи и вечера. Говорим. Скользят шутки и развиваются мысли, раздается смех, я лежу на диване, я читаю дневник, потом я его закрываю, пьем чай, пьем вино.

М.А.! За все то зло, за всю ту печаль, которые я Вам причину – разнообразием своих атрибутов – я бы хотела сейчас –

взять в руки свои эту мозаику чувств, и тут, у Вас на глазах, бросить ее в огонь, оставив из нее то, что Вам нужно.

Я хотела бы быть Вашей матерью, Вашей сестрой, Вашим другом, Вашей возлюбленной, если Вы это хотите – нет! Я хотела бы быть для Вас чем-то, чем никто не будет для Вас!

Но невозможное – невозможно, все будет так, как должно, я, вероятно, окажусь хуже, чем Вы и я сейчас думаем, – простите меня,

– и, если можно будет забыть меня тою, какой я буду, жестокой, эгоистичной, тупой,

женщиной, ждущей плетки, женщиной, как они все,

вспомните меня, какая я есмь: вечер. Лампа. Диван. Рюмочка литовского меда. 2, 3, 4 часа утра. Белая шкура. Разговор, тишина. Я говорю, что все безнадежно, что я не понимаю страсти, слитой с любовью, что любовь моя бесполезна и целомудрена, что я столько раз любила, и так легко могу полюбить!

Я рассказываю о том, как какой-то умный мужчина, любивший меня, однажды надо мной «поднял плетку», и я улыбаюсь...

Вы зажигаете мне папиросу. Когда Вы уходите, я спокойно и тихо прошу у Вас мне позволить поцеловать Вашу руку.

Мне 20 лет, Меня зовут Асей. Я Вас люблю!

Мы сидим за столиком в Альказаре.¹¹ Продолговатая зала освещена гроздьями люстр, а по бокам, где на небольшом возвышении тянутся балконы с ложами – стройные зонтики с висящими матовыми шарами – сотни маленьких лун. На далекой эстраде, в цветном токе света, идущем с верха противоположной стены, танцует удивительная женщина – она бесконечно нелепа; светло-коричневое шелковое платье ее, странно сшитое, в красном луче света кажется changeant!.* Танцует она танец, долженствующий быть сладострастным.

* Меняющимся (франц.).

В ближней ложе над нами шляпа с эгретом,* и личико; голоса. Музыка. Яркий свет. Все столики заняты. Я обвожу залу взглядом, на миг останавливаю его на двух военных, смотрю дальше. Я вижу, как М.А. глядит на меня, он всегда на меня глядит, всегда наблюдает, — я, как всегда, делаю вид, что не вижу.

Занавес открыл эстраду; снова открыл. В голубом токе света стоят две женщины в светлых с блестками платьях, и поют — хорошо ли, не слышно за гулом голосов.

Щурясь от света, отламывая кусочек хлеба, я смотрю на эстраду, на публику, и думаю о том, какая я странная.

Я никогда не бываю собой. Я изнываю от множества ролей, каждой из которых надо бы отдать жизнь. Никогда мой собеседник не должен знать, что я думаю, что я чувствую. Мои слова должны быть столь же неверны, сколь блестящи, и для зрителя во мне — только игра, никогда ни одного бессознательного жеста. А он думает, что я забываю о нем. Никогда не забываю. Никогда.

«Единственное, что меня может всколыхнуть настолько, чтобы я забыла о присутствии человека, — говорю я М.А., наклоняясь через угол стола к нему, — это — музыка. Вот тот единственный случай, когда я могу поистине непосредственно воскликнуть «ах», схватиться за голову, вцепиться пальцами в свои волосы... Иное все есть — игра. Самые внезапные жесты мои — бесконечно, бесконечно обдуманы».

Вот. Я сейчас улыбаюсь, держа у глаз лорнет, и гляжу куда-то — не то рассеянно, не то грустно. Почему? Что? О чем я думаю? Слушаю, мой друг, расскажите!

Почему я улыбнулась сейчас — так, а через минуту — иначе? Вы думаете, от такого-то перехода одного чувства в другое? Нет. Во мне сейчас счастливая, сияющая пустота, нет ни мыслей, ни чувств, есть только роли — и где-то они исполнялись *воистину* — тысячами героинь. Я утопаю в тоске, взяв его руку, — играет вальс, — он отводит взгляд; я разжала руку, и когда он взглядывает на меня, я (каменное изваяние!) сижу прямо, смотря вдаль с холодной складкой в бровях, и курю папиросу. И вдруг — почему? я или не я? — иронически дрогнули брови, и все возможности жизни, весь пафос авантюризма бросились в мою душу! — И вот уже нет пустоты.

* Султан из перьев (прям. ред.).

Душа через край переполнена, и что-то уже изнутри приказывает моему лицу и движениям, — словно смычок коснулся струн скрипки. Игра?

Папироса потухла. Мужским, быстрым жестом я зажигаю спичку, но она тухнет, я нетерпеливо (капризный ребенок!) бросаю ее и еще нетерпеливей зажигаю другую. И вдруг лицо мое невыносимо нежно, о, тоска, — и чудится вокруг него — ореол обреченности!

Сколько фраз! Сколько жестов — в вечер! Сколько улыбок! Сколько вздохов — о чем? Сколько слов — о том, что все — грустно, что все канет в Лету, что все — сон, что все очень весело...

Сколько желаний! Вот сейчас — непременно быть в Ницце Да. На Avenue de la Gare. Смотрите на меня, и вам кажется, что я готова умереть за эту мечту, что я — в горе, что я полна нетерпения, что я — мученица своих мгновенных капризов, — ах, нет!

Я спокойна, как лед, и совсем мне не хочется в Ниццу.

Сколько желаний! Лежать в траве, и слушать песню с плотов, нет, жечь костер; нет, ехать в кибитке по снежному полю, где-нибудь в Сибири, далеко... Я не скажу, что хотела бы ехать с вами, но вы это, конечно, поймете. Переполненный нежностью, вы обратитесь ко мне с какой-нибудь ласковой речью, но я уж устала от собственной жажды, глаза мои потухают; если я дома, я кутаюсь в пальто или плед; если я в ресторане — грустно падает с моей папиросы на край тарелочки — пепел, и я не слышу того, что вы говорите...

— Я слышу — прекрасно!

Одна я могу горько плакать под звуки шарманки, от книжки с рассказами детства, от ничтожных причин, — но я не позволю себе, сидя с вами в театре, перед самой потрясающей драмой, волноваться!

И в бледном свете померкшей залы мой спутник увидел мое лицо, как всегда спокойным, и если он продлил взгляд, я, не оборачивая лица, скажу губам моим, чтобы они улыбнулись, — тонко, чуть-чуть, иронически. И когда актер уронит на руки голову, и у меня сердце безумно забьется, я опущу глаза, поправлю на платье складки, проведу рукой по

цепочке часов, и вздохну – ах, ей очень скучно! – так вы рассудите!

В антракте, в блестящем фойе, под хрустальными подвесками люстр, в глубине зеркал, повторяющихся, опершись о вашу руку, устало, я не говорю ничего или – горячо говорю о том,

как мир парализован состраданием, и том – ах, смотрите, правда, чудесно? В окне, вся в инее, Театральная площадь, и луны голубых фонарей.

Последний акт. Весь театр рыдает. С кем-то дурно. Рядом, опустив на руки лицо, плачет какой-то мужчина. Вижу в полумгле выше лицо, надо мной наблюдающее; и в ответ – фонтан чувств начинает бить во мне. Я сижу, уронив на колени бинокль, чуть зевнув, улыбаясь – чего не перенесет она, ваша изумительная соседка, с такой легкостью смотрящая на рыдания, смерть, целый концерт истерик... Вспыхнул свет. Опершись о вас, она выходит в фойе, и вам кажется, что вы ведете под руку королеву. А что королева не переносит ничего, и что вокруг – темно, и что она – ребенок – этого вам не следует знать!

Если бы я была в палатце Нерона, и горел бы Рим, я бы смотрела в отшлифованный изумруд на далекие краски пожара. Другая рука моя лежала бы на плече моего повелителя, и я справшивала бы о том, какие ему больше нравятся краски.

Я бы легко могла, держа за руку юношу-христианина, спасти погибающих, молиться Христу – в катакомбах, но, ведь, нет этого юноши, и – не все ли равно? рядом *arbiter elegantiarum!*..*

Есть одно, что я обожаю: это ритм. Ритм во всем. В поведении, в музыке, на страницах... Ритм жизни. Волну за волной. И ритм девятого вала!

«Вы знаете, что самое сильное в Вас? – проговорил М.А. – Настроение Вашего спутника».

Но вдруг, легко, еле касаясь слуха, зазвучал вальс, – мандолина, виолончель,

* Арбитр изящного; законодатель вкусов (лат.).

это – струнный оркестр! –

милый друг, если вам случилось понять, что я весь вечер – играю, и что во мне – пустота, – вы – сейчас – потерпите фиаско! Ибо, отвечая на ваши слова, смотря на эстраду, я все рвусь – куда? Я глубоко несчастна, я переполнена через край невероятными ощущениями, которых вам не понять никогда!

Он повел меня, через несколько пышных зал, в самую отдаленную, небольшую, освещенную ярко, где стоял невообразимый шум. Опершись о руку его, я шла рядом с ним, между тесно поставленных столиков; на одном из них, в уголке, в глубине, грелся на огоньке кофейник, и стояли маленькие чашки. Мы сели, я – в самый угол (передо мной была вся зала), М.А. vis-à-vis.

При нашем появлении несколько лиц взглянуло на нас с любопытством. Но что за веселие? Я видела нечто подобное – в первый раз.

Столы и стулья были перевиты снопами и лентами серпантин, шуршащих и кидаемых беспрестанно. Играл оркестр. По середине залы, в пустой круг, вбегали, танцуя, какие-то женщины, они пели, вокруг них собиралась публика, мужчины передавали их друг другу, вальсируя. Воздух был полон дымом, духов, криков, возгласов, смеха, – ах, это интересно, и очень! Это напоминает – разгул!..

Я сижу, улыбаясь, подняв за тонкую ручку чашечку кофе, несу к губам и ощущаю резкий запах – упоительный – кюрасо. Опускаю глаза – оно. Что за прелесть! Так вот оно, откуда это веселье, за столиками в чашечках и стаканах.

Толстая дама, затянута в ярко-синее платье из шелка, с сияющими гребнями в волосах, и *éспггг*, танцует весело, опершись о худого высокого господина. Звенит тамбурин; хохот. Брови мои чуть дрожат, легким недоумением. Дама, усталая, падает на стул, кто-то тянет ее за рукав; цветной, острый луч сверкает от камня ее гребенки. Серпантинны взвиваются, падают на столы, на пол, на плечи, на головы, лакеи спуют, музыканты играют польку, господин обнял даму; высоко подняв руку со стаканом, какой-то незнакомец – ораторствует.

Рядом с нами, за спиной М.А., трое: господин с бородой и наглым лицом, похожий на шулера, и две дамы; та, что ближе ко мне – маленькая, живая, в белом, с кудрявой прической, обернулась ко мне, поглядела осторожно и дружески; горячо блеснули ее глаза, губы дерзко, вкрадчиво улыбнулись; личико милое: в нем абсолютное отсутствие мысли, бархатность, беспечность, кошачья, хотя жизнь она знает в тысячу раз лучше, чем я, которая так прямо сижу, с лорнетом. – Но все уж во мне бушует, бушует, – зрители, не ошибитесь!

За столиком, с правой моей стороны – три дамы и господин. Та, что посередине, в темном, в маленькой черной шляпе с эгретом, с длинным овалом лица, чертами резкими и оживленными, – какие густые у нее и властные брови, какие быстрые жесты. Поволока тяжелых бархатных глаз, смех – она похожа на Джемму из «Вешних вод», кто она?

Ее кавалер – бритый, еще молодой, толстый, с низким воротником из которого поднялась широкая и противная шея. В его галстук блестит бриллиант.

То и дело мы взглядываем друг на друга, она и я, и эти взгляды, мне кажется, тонко и непонятно придают нам обоим веселья. А там – визжит скрипка, грохочет бубен, творится какое-то непонятное безобразие, – ах, как весело, – М.А. и я – мы молчим. У меня горят щеки.

Что это? Дама в белом с кошачьей ужимкой вдруг оборачивается, и взмахнув белой ручкой, – ах, кольца! – бросает в меня серпантин. Улыбка трогает мои губы, я не опускаю лорнет, и отвожу длинную красную ленту. Настойчивым и горячим движеньем она повторяет свой жест, – между нами всего два аршина – я тем же движением, чуть укоризненным, чуть застенчивым, не изменяя улыбки, мимо улыбки М.А., снова отвожу серпантин – мимо. В М.А. бросили розой. Я покачала головой, – как я себя мягко и строго держу! И (М.А. уже давно положил на стол мой *camnet*)^{*} – продолжаю писать. Неучтиво?

Комнату наполняет вальс, знакомый до физической боли, переполняет ее. Дышать трудно. Я к губам поднимаю чашечку. Третий серпантин обвился вокруг меня; другой его конец – дама в белом фамильярно обкручивает вокруг головы своего

* Блокнот (франц.).

кавалера; ее ручка лежит на толстой его спине – беспомощная и веселая ручка. М.А. глядит на меня; нежная, тонкая улыбка скользит по его губам. Я гляжу мимо.

Грянул оркестр. Мотив из Кармен! Вынув гребенку, я, точно дома, провожу по моим легким, русым, завивающимся волосам. Грохот, смех... Я ни разу не засмеялась еще, все так странно... Ах, да это – разнузданность!

Я точно стою у стены, о которую оперлась – это молчаливая близость М.А. – а вокруг точно сон творится! Ах, как легко заснуть, как легко – вот: чуть-чуть... Но рука моя – оперлась о камень.

Музыканты играют – ах, что они играют! Что это за мотив? Господи, это итальянская песенка – Нерви, о Нерви!

Слабо, остро, и нежно, так нежно, что мне физически больно – М.А. насвистывает вместе с оркестром – песню «Вернись в Сорренто».

Мама! Владислав Александрович! Вечер у Portofino! Cavaliere и буря на море... М.А.! Как Вы далеки мне – сейчас!

Курю.

Я не знаю: что во мне? И чего мне хочется?

Кто-то, проходя, запутался в копне серпантин, поднял ее и бросил через столы. Крик... За соседним столом дама, наклонясь над бумажником своего соседа, считает деньги. Звенит бубен. Взвизгнул оркестр: русская. Ах, Боже!

М.А.! Кабы не Вы, кабы вокруг никого знакомого... как сладко голова закружилась, – словно такт в крови, и кажется: ноги – что крылья!...

Сильно выпив, господин с покрасневшим лицом идет казачком. Сдвинули круг. Дама в светлом, маша платочком, разводя руками, плывет, молодец волчком завертелся, платочек, как белый голубь, летает на головой... Всем беспокойно сидится за столиками!... Танго, ты здесь ни к чему, ведь мы – русские, у нас пляска в крови, а не танец...

Вдруг слышится дикий вопль. Все вздрагивают. Направо, недалеко от нас, несколько мужчин удерживают одного пожилого, который рвется, рыча, как зверь. Повскакали с мест. Я гляжу все с той же улыбкой, но сердце забилося, и в голове туман пронзился тоской.

«Всех переколочу! – кричит он, сжав кулаки, хриплым страдальческим голосом, – ни одного чтобы немца не было! Бить сволочь такую, чтобы все подошли. – Он совсем вне

себя, – Я... я... кто, кто, кто-о посмеет меня удержать?!.. – рычит он, и рыдает, – Я... я... завтра же выезжаю на передовые позиции!..»

Смех.

Подъем его не несется волной – над пьяными столиками, пьяные люди умней, все смеются, продолжают пить и шутить по двое по трое.

«Что с ним?» – спрашиваю я в то время, как оглушительно падает звук оркестра, и не слышно чудака-патриота, и вдруг: – я умру с М.А. Да, это так. Конечно. Стрела пронеслась прямо – в сердце. Да, так.

Подношу к губам спичку, вспыхивает огонек, курю, холодно, чуть сощутив глаза... Потом задумчиво улыбаюсь... Вокруг губ М.А. – дымок.

Женщина танцует, тряся бубен, волосы у нее распустились, летают черным плащом, личико нежное. Оркестр визжит. Хорошо. Кто-то взял ее на руки. Я больше не хочу кюрасо, наливаю кофе. Тоненькая его, витая струя.

«М.А., думали ли Вы о том, что Вы меня никогда не увидите – танцующей, веселящейся, бросающей серпантин?»

Он наклоняет голову. Думаю дальше. Если я встану – то уже прямо чтобы поцеловать незнакомого, вон того; или встану – и в тот же миг – дурно!

Над залой блеск и дым все темнее, сильнее, что это?

Господин вдруг забыл об австрийцах и подходит, шатаясь, к столику, где белая дама. Ближе. Тянет руки и вот уж обнимает ее. Вскочили с мест. Она кричит «поп, поп, поп», (ах, француженка!) – господина оттаскивают, лакеи испуганы, публика веселится, у дамы негодуют глаза, впрочем... не очень. Да-а, вздор, правда? Оттащили. Он что-то кричит. О, Россия?

Танго. Смотрю, облокотясь о стол, на залу, все в дыму, все шумит и вдруг – просветление: люди, визг, шум, музыка, – что с нами? О чем мы? Кто мы? Отчего? Отчего качаются наши ноги?

Пол крепок!

Почему мы сидим здесь, за вином? Ведь война!

Почему мы так странно-беспечны? Ах почему, почему нам дано понять, что все – сон, и что земля мчится в эфире, и почему, почему она мчится?

В квадратной коробочке с огоньками мы собрались, бедные куколочки, спастись от земли. Где ты, злой мудрец, рассказавший нам, в чем все дело, и к чему...

Я сижу, не опуская лорнет, смотрю, широко и пристально, — ах, ужасно смешно, ужасно!

И ужасно смешно: комнатки с партами! Комнатки с алтарями!

Земля кружится. И я — чувствую головокружение. Звуки мазурки. И вдруг — ничего не вижу, с трепетом поднимаю лицо, смотрю на М.А., пристально, чуть бледнею...

Дым кругом, все танцует, все куда-то упало, — только: «Ты. Я».

«Потухла. Мерси». Папироса горит. Он говорит медленно: «Вы думали о смерти?» Я улыбаюсь — «Да. Но когда смерть превозможешь — приходит другое. Можно спичку?»

Рука француженки, в кольцах, лежит устало на шее соседа; тонкие пальчики, ноготки блестят...

Два часа ночи.

М.А. звонит, я кончаю одеваться, бросаю ему в руки полученные письма, и мы быстро едем по направлению к Театральной площади. Таинственен и темен Большой театр, с взлетом своих коней, высоко над колоннами. Уже не толпится публика. Двери тихи. Опоздали.

Волшебство позолоты, люстр, лож, сияние и трепет балета. Вижу профиль Марины, золотистые пряди волос, — она смотрит через плечо С. — на сцену. Едим конфеты. Антракт. Фойе, с кем-то знакомят, я рассказываю о сегодняшних письмах по поводу моей книги, показываю петуха, нарисованного д-ром Л. на обложке моих «Размышлений», и краткую надпись, выражающую его приговор мне. Звонок. На меня, а от меня заражается и Марина, нападает припадок смеха. Не могу, чуть не падаю на дно ложи, не вижу сцены, а, закрыв руками лицо, тихо повторяю фразу одной дамы (о которой мне только что рассказали) о попугаях: — «Ах они очень милые. Если бы они меня полюбили — я бы им простила даже то, что они — птицы». Совершенно изнемогаю от смеха. Из соседних лож смотрят на меня с укоризной и изумленно. М.А. сжимает мою руку и улыбается. Это как на Демоне: я однажды лежала на полу ложи, и умирала. На картонной скале стоял демон в лиловом платье, и пел. Наконец, слава Богу, антракт. Урывками читаю письмо З. «...и есть в Вашей книге еще — лазурные просветы, безумный хмель...»

«...Кто написал это, тот скоро бросит бумагу, и пойдет в тьму жизни...»

Задумчиво складываю листки, передаю М.А. Но Гельцер¹² танцует!

Ах, это ли описать? «Танец Бельгии». В яркой одежде, с золотой длинной трубой, прижимая ее, в восторге, к губам, с белым упрямым султаном на шлеме, — она летает по сцене, точно на крыльях, непостижимо легко!

Каждый ее жест — совершенен. А когда она останавливается, в конце, опустив золотую трубу, — повелительным, капризным, царским движением — театр дрожит от рукоплесканий!

Потом танец России. Станный, таинственный танец. Что это за страна? Поклоны и власть, дерзновение и вдохновенность, — плывет, как лебедь, и лицо смиренно, но вот, словно огонь пробежал по жилам... Золотой наряд мерцает не то позолотой иконы, не то — щедро льющимся золотом... алмазами сияет венец, и танец ее непонятен.

Мазурка. Красные сафьяновые башмачки, косы с лентами — ах!..

«М.А., сегодня весь вечер Вы будете меня утешать, — я буду очень горда, потому что очень обижена. Я не умею так танцевать мазурку, а Вы не можете меня научить!.. И чтобы я никогда не танцевала мазурки...»

Он обещает, что буду. Я отвечаю с грустью, что я близорука, и непременно разлечусь в танце о зеркало — «в бесконечность», и об нее, как водится, сломаю себе голову... Нет, невозможно — я никогда не буду танцевать мазурки!

«С Тобой, должно быть, очень трудно бывать на выставках, на концертах, — говорит Марина, — если Ты не так умеешь рисовать, играть, петь, как...»

«О да, нигде бывать невозможно! — покорно говорю я. — А выставки — о! мне сразу хочется, чтобы все картины были мои!»

Мы говорим о нашей странной связанности в движениях — Марины и меня.

«Ты бы решилась, если бы даже чудно умела, танцевать мазурку?»

«Господи, никогда!» Мы, понимаем друг друга с полслова. С. и М.А. слушают нас с улыбкой.

«Знаешь, Ася, мы, только выпив вина, можем стать развязны в движеньях, как другие бывают всегда. Но зато другим надо выпить массу вина, чтобы стать развязными в словах, как мы обычно».

«Да, да. Откуда это?» – спрашиваю я с комическим недоумением.

«Я думаю, что от бабушки» – отвечает она.

И все, что в нас странного, мы с тех пор «валим на бабушку», благо она умерла давно – и мы о ней знаем лишь то, что умерла она молодой, и была красавица.

Мы выходим на площадь. Пальто наши треплются ветром, широкие внизу, в складках. Ночь.

«Почему, – говорит Марина, – когда я с Тобой, я сразу делаюсь дерзче в сто раз? И во мне пробуждается что-то такое...»

«...От бабушки!»

Мы шли по двору, над которым стоял душный весенний день, на сухой земле всюду «червячки»; синее небо, тишина, воскресенье.

«Аля не Малинина, она моя, она Андлюсина...» – говорил Андрюша, ступая со мной, опустив глазки на землю, щуря их от солнца. Я подумала о том, как быстро идет жизнь.

Вхожу. Узнаю, что заезжал какой-то пожилой военный, спросил меня и уехал. Кто?

Жаркий пыльный день. Сияющие облака на горизонте – серебряной полосой. М.А. ко мне идет. Кричит разносчик; кричит петух; медленно чмокают копыта лошади, извозчик едет мимо, опустив вожжи.

Ленивый, золотой, знойный «полдень» какой-то – опустился на нас. Всем – я чувствую – лень.

Для чего я ездила в гости, для чего говорила с С. о Боге? Никто мне не нужен, и я никому не нужна.

Над бульварами стоит пыль, щелканье семечек, дворники с женами стоят у ворот. Всюду люди. Как их много. Площади, скверы запружены. Бесцельно бьются в небе фонтаны на Кудринской и Театральной площадях.

И во всем этом движении я чувствую праздничное томление, и никто никому не нужен, – и для чего приходит весна?

Вот я ясно помню, как 4 года назад, я, я, та же, сижу у окна, в апреле, люблю Б., читаю «Леонардо да Винчи», тополя шелестят, пахнет ими, и солнце *prachtvoll** рассыпает лучи над землей! 12 лет назад, и 11 – вижу Ouchy, золотую дымку над озером, – зачем это было?

Было много. Было... о Боже! Где-то есть Брюссель и Остенде...

Я завожу граммофон, «Шествие бояр» – таинственный тихий мотив с переливами флейт. И, как через сон, я вижу себя семилетней девочкой в ложе Большого театра, папу, маму, Марусю, Андрюшу, – мы на «Спящей красавице».

Легкие, как видения, преследуемые лучами электрического света, летают, невидимо касаясь земли, балерины. Волшебство театра, длинные звуки флейт, – зачем это было?

Я стою у зеркала. На мне прошлогоднее, серебристое платье, в котором меня рисовал Л. Так же легли его складки вокруг меня, чуть ставшей шире – знойный полдень ко мне медленно приближается, – мне двадцать первый год, – о! я не могу вспоминать! Я стою. Я смотрю. Зеркало меня отражает, серебристость платья оттеняет легкий румянец, губы мои дрожат – нет, не улыбаются – почему?

«Ах, зачем все было? – спрашиваю я. – Зачем все есть? И зачем все будет?»

Вальс Ньютон звучит тихо и утомленно. В окне облака. Кричит петух. Едет извозчик. Я знаю – единственная гора, на которую я могу опереться – это музыка. Я кидаюсь в нее, упав на ковер, закрыв голову счастливыми руками моими, жадно, ибо я ничего не знаю, ничего не имею, ни о чем не могу сказать «да», ибо кругом тьма, хаос и неизвестность, и никто – ни Базаров, ни Ницше ни я – мы ничего не решим!

Страсть: держишь руки в руках, слушаешь, падаешь, погибаешь, и земля вертится, как никогда, О, сладость!

На другой день все спокойно, и земля летит, как ей полагается в географии.

Страсть, влечение друг к другу – ничто иное, как жажда.

* Прекрасно, великолепно (нем.).

Поэтому – так неудержимо влечет.
Поэтому – нельзя оторваться.
Видя стакан воды, и желая пить – берешь стакан, пьешь.
Поэтому – так дико, нелепо противостоять страсти.
Поэтому – так прекрасно.

Я никого не учу. Все по-старому.

Не зову никуда. Ничего не объявляю. По-старому.

Но сейчас любовь без влечения мне представляется сладкой водицей, «*fade, tiède, du lait couré*», и уж я чувствую, как нестерпимая жажда овладевает всем моим телом. Что-то зовет, зовет, глубже, глубже,

темно – и уж кружится голова!

Это – о самой сущности чувства. А оболочка, жизненная тоска, стыд, многое, что очень дорого, – об этом я, пожалуй, могу сказать с грустью: «*ah! qu'importe!*»**

Согласно ли это с моим обликом, в разрез ли – не знаю. Но улыбнусь на мгновение, что в разрез.

Вот я стою, держа руки М.А., и чувствую, что...

Новый путь во все тот же *abîme**** открывается мне. И за миллиарды лет жизни я не отдам этих коротеньких минут шума, тишины, счастья.

Я все помню, и я, конечно, права не теперь, 2×2 то 4, все так...

Музыка. Падаю. Тихо.

Жизнь стала глубже, темней, блаженней. Прежде: стою у окна, солнце. Длинные лучи, щебет птичек. Музыка. Пусто и душно. Идти некуда. Роняешь голову на стол, на тетрадку...

Теперь: кладешь ему руки на плечи, и солнце светит в окно, и птички поют, – сегодня чья-то первая ночь под землей, – о, мой милый!

* Слова Ирины из «Дыма»: безвкусным, теплым, разбавленным молоком (франц.).

** Ах, не все ли равно (франц.).

*** Бездна, пропасть (франц.).

Ясно слышен полет земли.
Пусто.
Смерть.
Смысл жизни – стал прахом.
Все – сон, все – ничтожно.
Ты! Я!

Вечером, вдруг, мы поехали на Ваганьковское кладбище. Было прохладно. Пресня, застава – сколько раз мы тут шли, Марина и я, – с папой, на мамину могилу!

Был закат. Кресты и памятники стояли по обе стороны дороги, как молодой лесок. Вошли в ворота. Вот памятник Корша; свертываем налево, и вот уж я вижу через чугунный узор часовни – посеревшие, когда-то белые могилы деда и бабушки; рядом – мамин черный, тяжелый камень с высеченным крестом, а за ним – желтый холмик с крестом, обвешанным съжившимися венками – могила папы. Ей полтора года.

Мы остановились перед ней, наискось от могилы мамы. Высокая береза, соседние часовни и решетки – все знакомо. Синий купол церкви над голыми ветвями деревьев, золотой крест. Где-то шаги. Тихо. Сыро. Закат. Как я живо помню, как папа стоит, вот тут, склонив голову, слушая панихиду. – Кладбищенский батюшка, размахивая кадилом, из которого серый дымок, пахучий, спешит окончить молитву; сзади дьякона черная фигурка старушки, она часто крестится, и, кажется, что она всю жизнь прожила на кладбище.

– «Со свя-ты-ми у-по-ко-ой
По-да-ажь Го-оспо-ди...»
...«И со-тво-ри-ши ей
Ве-чную па-а-мять...
Ве-е-чна-я па-а-мя-а-а-ть
Ве-е-чна-я па-а-мя-а-а-ть
Ве-е-чна-я па-а-мять...»

В последний раз, коротко взмахнув кадилом, так что цепи подогнулись, как веревки на качелях, батюшка получает от

папы за службу, что-то говорит о погоде, кланяется, кланяются и дьякон и старушка, и друг за другом, исчезают за поворотом.

Минута молчания. Мы стоим, кто у решетки, кто у ствола березы, Марина трогает засохший листок на чугунном изгибе, его легко качает паутинка, папа говорит:

«Ну, дети, поклонитесь, станемте на колени...» И, тихо, мы сходим на тропиночку, и идем к воротам, говоря о памятниках, о песчаной почве.

«Мама не любила этих стоячих памятников, – говорил папа, – и она всегда говорила, что не хочет часовни над своей могилой. И мне, дети, когда я умру, – вот такую же плиту, как маме. Лежачие памятники никогда не покривятся, а черный цвет для того, чтобы не грязнились...»

«Ну что ты, папа» – говорила одна из нас, но тут же умолкала, потому что было слишком невыносимо жаль его за эти его слова, и сказать об этом невозможно, да он бы и не понял *нашего* отношения к смерти... Мы шли и думали о том, как ужасно, что смерть когда-нибудь, *непреренно* возьмет его, который – так просто, и кратко – о ней говорил... Бабы предлагали венки, а если весной – то пасхальные стеклянные яйца, извозчики дергали вожжами, приглашая садиться, старые домики, грязные дети, чье-то развешанное белье...

Ах, как было радостно, когда отходил со звоном трамвай, и мы возвращались в шумную, обычную жизнь. Так было много лет – когда мы еще жили дома, девочками, и когда уже жили отдельно; те года, когда мы были «нигилистками» и находили, что панихида – напрасна (тринадцать – четырнадцать лет), и позднее, когда снова полюбили кадило и церковное пение...

Папа, воротясь, ехал в музей или на заседание, просматривал визитные карточки за день, мы шли к себе наверх, и так все шло, а мама оставалась одна со своим камнем и горшочками свежих цветов.

И помню, как несколько лет спустя в осенний день (уж снег, ветер свистит, и смеркается), мы, вдвоем с Мариной, ходим по кладбищу, ищем домик просвирни, спешим, – там и здесь – огонек лампадки... Гудки поездов, как в детстве, и какое-то непонятное волнение – это было перед моим отъездом за границу с Б., и Мариной свадьбой.

Ах, было много... Мы с мамой бывали тут, очень давно, совсем маленькими, у дедушки. Мама рассказывала о нем, и так же доносились гудки с Брестского вокзала – кто-то, ехал

за границу. И мы уехали несколько лет спустя, всей семьей – у мамы был туберкулез. И позднее, во Фрейберге, мы бродили – мама и мы две между немецких могил, читали надписи, вспоминали Россию...

Все прошло!

Длинный зовущий гудок, М.А. стоит, я держу его за руку, маленький озноб бежит по мне – оттого, что я уже 20 лет живу на земле, и остается, может быть, те же 20!.. Но теплым вихрем, неслышно и бурно, несется во мне, через все, сотрясая меня – радость. Я стою, с минуту, и говорю, сжав его руку:

– Ах, если бы вы знали, *как и что* я чувствовала еще очень недавно на кладбищах! Это была самая большая тоска моей жизни. А сейчас – нечего этого. Я к себе прислушиваюсь: я точно в саду. Внизу – земля, наверху – небо. Никаких жизней. Тут только Вы и я, и какой-нибудь сторож. Земля – как везде! Вот еще свежие могилы смущают, но и они... О! Здесь нет никого из тех, кого сюда клали – ни папы, ни мамы, ни бабушки. Так значит, и вправду из меня исчезает все старое, если уж это... Дружочек! А, ведь, когда-нибудь, и я так буду лежать!.. Вы придете ко мне, или...

– Нет, Вы не будете так лежать, – сказал М.А., сжимая мою руку с улыбкой, – Вы будете в шкатулке у меня на столе!

– А, Вы об этом! Что ж, хорошо! Выберите хорошенькую шкатулочку!

– Обещаю.

– Дружочек мой!

Вдалеке, в сыром воздухе вечера, послышалось нестройное, колышавшееся волнами, солдатское пение. И шаг их стал слышен. Пение прорезал длинный свисток поезда. Где-то – или это кажется? – зазвонили колокола. Он сжал мою руку. И вот медленно охватило меня это чувство, все глубже, все нестерпимей, что-то сильнее меня. У меня сердце застучало, вокруг стало ти-ихо, только пение солдат слышалось, и деревья чуть колыхались вверху.

О, жизнь! До чего же ты хороша, если это может случиться – пустота, как прекрасно в тебе!

Как я спокойно стояла, и твердо – над могилой матери, над пустой землей, живя настоящей жизнью!

• Суть сама молчалива. Пьешь поцелуи с его губ с чувством шемящей, растущей, ужасающей своей силой любви; потом стоишь перед ним на коленях, и без счета, без слов, без прошлого, целуешь его руки, — и мир темен, и все темно!

И вяло падает ярлычек с четким наименованием. Тут бесконечное разъединение всех, по двое, по двое, и не объяснить никогда ничего.

Верьте мне! Если уж я, любящая все делать ясным, доводить контуры вещей до блеска, и сказать, что загадки нет, если уж я говорю, что тут *есть* загадка, значит, так.

А, впрочем, не спорю и не учу никого. Но знаю, что много «близких» мне, весь мир, по двое, по двое, а как и почему — ничего не знаю!

Так. В центре вещей я стою, презирая и центр, и вещи, всяческий шум подавляя оглушительной тишиной, пью поцелуи с губ его, с любовью растущей и ужасающей, без счета, без слов, кинув прошлое вверх, как мячик, — целую руки его, — и нет ничего, и мир темен!

И в итоге всего окружающего шума и грохота, речей, учений, заветов, идеалов, идей,

будет у меня синеглазая дочка, и какой прозой покажется мне — вся ваша жизнь!

...Одно бескрайнее жгучее любопытство: что будет? как поступлю? какой я стану?

И — тоже неведомо почему — несется теплым ветерком желание: слиться. Разбить. Разбиться.

Молча, в тьму.

Бог с ним, с уличным фонарем, с мостовой. И запах дождя, дегтя, соломы, апрель...

Сон, будь глубже! Прогони сновиденья!

Время, перестань спешить за часами!

И хочется мне пожать руку каждой из вас, живые и давно умершие женщины,

— не за 25 поставленных одною из вас, в армию, сыновей,
не за помощь мужьям, не за доблести сестер милосердия,
не за жалость, не за доброту,

не за то, что вы рождали детей, и тем продолжили человечество,

ни за одну из ваших общественных, блестящих ролей, а за то, с какой сокрушающей, насмешливой силой, все вы, все до одной, хоть раз в своей жизни, вдохновенно взглянули в тьму.

Я жму вам руку за то, что хоть раз вы захлебнулись горечью и упоением,

что хоть раз в ваших мещанских жилах билась королевская кровь.

За то что были часы, когда знали вы, что все – сон, все – вздор, что весь рай и вся земля со своей сложной историей, не стоят вот этих губ, этого рта, этого тела!...

Через пять лет, если я буду идти, случайно попав в Феодосию, по Итальянской, с Л. – море, теполя, арки, ветер; реально, как сейчас, треплются полы пальто, – смогу ли я не забыть смысл встречи с М.А., смогу ли не возмутиться? Смогу ли найти в себе мудрость, чтобы не распахнуть широко пальто, идя быстрым шагом – морской ветер! – смогу ли не взять руку Л., и не сказать ему

– что: повелителя нет,

что: цветут акции,

что: я та же!... – ?

.....
.....
.....

Юность мою я вспоминаю не так уж часто. Но глубокую нежность я сохраняю к моему раннему детству. Годам к пяти, я помню маму, наш дом, себя, Бартельса и Филиппова, цветные шары, Патриарший пруд и Страстной монастырь, Мюр и Мерелиз в снежный вечер... Это уже не быть. Это – сон.

Буфера, крики, люди, фонари, начальство, тревога, острые взгляды жандармов, мой легкий шаг, моя большая шляпа, все бывшие мои путешествия и все еще не бывшие, черные обрывки туч в небе, рельсы, решетки, циферблат часов, громада строений, кондуктора...

О, детство мое, о, мои нежные восемь лет, когда я в груди детей, прислуг и родителей выходила, сонная, через Генуэзский вокзал, на какую-то гулкую площадь!

И дым, и шипение паровозов, и бесконечные ряды домов с освещенными окнами, незнакомый говор и хохот, свистки и вода, лившаяся вдруг, как фонтан где-то у паровоза, вагонетки с багажом, в котором потерялся наш, и странные речи *fascino*, болезнь мамы, распри старших, наш тайный восторг, и счастье начинавшейся жизни – во что превратились вы?

В кругу женщин, когда заходит разговор или спор, меня всегда «подмывает» перечить, дразнить, несмехаться. Эта черта того времени когда я была *Wunderkind* и *enfant terrible*,^{*} бесенком с распущенными волосами и злым языком. Мне весело шокировать, произвести эффект, сидеть, покачиваясь на перилах (чуть ли не болтая ногами) и свысока ронять – чорт знает что.

Я забыла, что я для других – женщина и больше ничего, что никто не хочет знать моего прошлого; что прошлое – прошло, что я не *Wunderkind*, а госпожа такая-то, и что поведение мое может быть истолковано только: желчью, злостью, грубостью.

А во мне все кипит и блещит, легко, неразумно, и весело, точно в четырнадцать лет!

Я вдыхала ветер, сырость, смотрела на серые тучи и вспоминала, как в детстве, в голубом и розовом платочках мы с Мариной выбегали к старому саду, в такие ненастные дни, и листья падали, и шумел дождь, и мама звала нас, и пахло мокрой соломой.

* Вундеркинд и ужасный ребенок (нем. и франц.).

Я захожу к Н.А., говорю о новых военных известиях, тут же дети. Как странно! Я – взрослая, а я так же неготова к этим вопросам, как десять лет тому назад, в Японскую войну.

Ах, мне хотелось бы вместе с К. и Л. бегать по горам, босиком и в коротком платье, слушать беседы взрослых, и под них засыпать... На берегу я говорила с Л. Ей одиннадцать лет. Она, как взрослая, говорит о войне, политике стран, и я не знаю, каким тоном говорить с ней. Я не больше ее знаю и понимаю, но мои одиннадцать лет за горами, и каким-то непонятным способом – мне девятнадцать лет.

Я сижу у открытого окна, как три года назад. Черная ночь. Со стройки доносятся голоса. Цикады – звонкий их гул. Тихий вечер. Тихие мысли. Собаки лают вдали. Дороги белеют.

О, тишина вечеров! Вспомнила тебя сейчас, 2 года назад в имении О-их. Б. уехал на мотоцикле. А. ушел с ружьем. Прислуга в кухне. Июль. Я, больная, сижу за столом у распахнутого окна, за ним трава и кусты, грачи кричат, тихий розовый закат; с села доносятся песни, и я пишу: «чистый, точно струна, доносится девичий голос»... Да, у меня даже есть где-то заметка! Я открываю давнюю, одну из уцелевших, тетрадь дневника.

«...что будет через 4 года? Мне будет 20 лет! Боже мой! И та же душа и *sensendo* тоски и чувств. Что будет через 4 года? Изменится ли что-нибудь во мне, и много ли? Где будет Б.? Прочту ли я эти строки? То тихо, то порывисто гнутся тополя. Луна заходит. Темнеют горы. Боже мой, Боже мой!»

(А на полях приписано ровно год спустя.)

«...Им. кн. О., вечер. За окном мокрые деревья. Я раздета. Б. сидит у стола, рисует. Я его жена. Через месяц у меня будет ребенок. Я вспоминаю год назад – тополя и море. Все это далеко позади!»

И теперь. С жаждою и бесполезно, под этим же Коктебельским небом, под той же Венерой, у тех же дорог и холмов, в той же комнате, с двухлетним Андрюшей, почти в 20 лет, я стою над пеплом костра, костров моей жизни.

Я все помню. Я та же. Жизнь идет.

Тут знаком каждый камень! Прачечная и лавочка, выступ тротуара, паяльня, меховщик... Оглянулась на зеленую церковь, и когда навстречу мне прошла девочка лет 11-ти, в коричневом платье, с косой, я стала идти быстрее, чтобы не дать пробудиться тоске, тому, от чего никто не утешит, разве что... гимназисточка – моя дочь (должно быть!!), и стала смотреть, как на кирпичном доме горит солнце.

Если бы мне сказали несколько лет назад, что такого-то апреля 1915 года я буду идти по этим самым местам, не Цветаевой, а Т-овой, давно уже не живя с моим мужем, и думая о мльчике почти трех лет, который говорит стихи и сказки, бегаёт, разговаривает со мной, – и этому мальчику, моему сыну, Андрюше, неся колясочку для кукол!

Несколько лет назад я ходила в коричневых платьях, волосы по плечам, мечтала быть исключенной из гимназии, и говорила, что не выйду замуж, а буду жить на Ривьере, и там умру.

Тополь, коричневые ворота. Знакомый вид двора, акации, мостки, собачья будка, полосатый парадный вход, мои окна... Взшла наверх. Все вижу, все помню! 17 лет жизни! Как низки потолки! Странно – как я этого не замечала тогда? Длинные, уютные комнаты. Дверь. Облака вдали, тот дом, окна которого сияли всегда в закате солнца...

Здесь я бывала уже столько раз за эти 3 года, всегда в смятении, в горе. Теперь на душе у меня, всего тише, тише чем в эти года. М.А. и я – это совсем отдельный мир, и в то же время, он входит во все миры. Он стоит в центре моей жизни, все другие стояли в стороне.

Смотрю – умывальник, кусок мыла, на окне веревочка... Да, да, мне уже 20 лет!

Помню, 2¹/₂ года назад я сюда убегала снизу, когда мы бывали приглашены обедать, и пока Б. и А. говорили об охоте и пили вино, я садилась за стол и быстро писала дневник (в моей бывшей комнате). И плакала.

Я сижу за столом и пишу. И ярко сейчас вспомнились былые утра мои, как я иду в гимназию в сером пальто, барашковой серой шапочке, с книгами в ремнях. Холодно. Снег. Иду церковным двором, думая об А.К. Знакомый старик-нищий (совсем желтая борода) стоит у стены. Опоздаю.

Все это было так же реально, как сегодня! Мне было 9 лет, и 14, и 16! И когда пронесется, вдруг, какой-то отрывок, например, как я шла по улице в Dresden'e и ела бананы, как бродила по набережной у Сены, как я осматривала Ватикан или катакомбы; или как я лежала с ребяташками у костра и мы пели «Варяг»; как я качалась на качелях с французским мальчиком в Вех, которого я звала *pipe en verre*,* и он мне собирал незабудки, как переходили через *glassier des Bossons*,** через *mer de glace*,*** как во Фрейбурге мы затеяли в школе бунт, и как я обожала учительницу географии; как со стаей собак мы бегали по Дарсановской горке, и не верили в Бога, или, как, 17-ти лет, я поехала в Nervi (обеда за *table d'hôte Parkhôte*'а, синий фонарь в конце *Carolungo*, лунные вечера; русские голоса в ресторанчике, и страшная тоска о России), или себя на коленях у мамы 4-х, 5-ти лет... – я сразу начинаю ненавидеть мое настоящее.

Краска негодования и обиды заливает мое лицо. Мне хочется тогда целовать порог Тарусской станции и зеркало в Варшаве, на вокзале, перед которым я причесывалась, все, что меня видало, что меня трогало, что меня не знает: 19-ти лет. Я презираю «сегодня». Было столько! Было все! Как я оскорблена! И я *не понимаю*, не понимаю того, *почему* все молчат – о прошедшем. Ведь жизнь больше никогда не повторится, ведь это наше единое достояние.

«Die Welt ist gar zu lustig,
Es wird doch alles vergessen!..»

Я хотела бы сейчас войти в залу нашего дома, увидеть филодендроны и рояль! Хотя я знаю, что и вещи все забывают, что они легко служат другим господам. Та комната, в которой я плакала, в имении Оболенских, теперь, может быть, сияет счастьем каких-нибудь «молодых»...

Одно мое прошлое так велико, что легко может затопить меня, уничтожить – реальностью бывших дней! Вот когда мне хотелось бы взять чьи-то руки и, целуя их, умереть, потому

* Стекланная трубка (франц.).

** Вероятно – *glacier des Bossons* (франц.). – Басонский ледник (прям. ред.)

*** Ледяное море (франц.).

что все равно исхода нет, утешения нет, счастья нет, ничего нет, кроме мгновения, и все сотрется, все, все умрет!

Я не знаю, скоро ли опять с таким туманящим шумом ринется на меня мое прошлое, но я еще раз говорю: то, что мне дает крылья отрываться решительно от всего, и то, что мне тотчас же их подрезает, то, что меня обдает равнодушием и зажигает огнем, то, что меня потрясает больше всего — это воспоминания.

И единственное стремление, после всего, — это припасть к чьим-то рукам, с бесконечно-горьким поцелуем, со всею жаждою моею к счастью, со всей ясностью моего ума, с просьбой простить, и все ж не в силах не повторить в этот миг, что все безнадежно, — и так умереть.

Я не верю ни во что, кроме мгновения: *мгновение, которое было, мгновение, которое есть, мгновение, которое будет.*

И когда-нибудь мы все будем в земле. И я, и все, кто меня понимали. И как ослепительно все будет цвести! И пчелы жужжат. И июль возвращается.

Я вспомнила Л. с такой невероятной силой, что села писать письмо. Но как только я обмакнула перо, мне вдруг вспомнилось ясно: вечер сочельника в Нерви — мне было 8, Марине 10 лет.

Сад перед окнами Pension russe.* Холодный день. Темный вечер. Мы режем золотую бумагу для цепочек. Володя болен, мы с Вовой. Он исключен из партии, у нас разрыв, но мы с ним говорим, хотя знаем, что это — измена Володе. Тоска. Как объяснить Володе, что мы его любим, хотя изменили ему? Где-то музыка. В вазе апельсины и фиги, и несколько синих ягод сушеного винограда. Мама с кем-то смеется. Нам запрещено играть с мальчиками, но мы тайком бежим к Володе, вихрем проносясь по лестницам вверх и вниз. Сегодня приехал новый пансионер, русский, и мы еще его не видали. А в саду море шумит, волны режут; агавы, кактусы; луна светит. Та же луна, которую я могу увидеть, подойдя к окну! И еще волна, и еще. Я не успеваю вздохнуть... Три песенки, которые мы любили в детстве.

Андрюшина:

* Русского пансиона (франц.).

«J'ai l'ame folle
D'une espagnolle,
Dont les beaux yeux
Ont enchanté mon coeur...
Mais la cruelle
Toujours rebelle,
Croyait se faire
Un jeu de mon bonheur...»

Марусина:

«Oh Gitana, fleur de Bohême,
De folles nuits et de beaux jours,
Pour moi ta vie est in poème,
Et je voudrais t'aimer toujours...»

И моя:

«Violettes embaumées
Quand viendront les beaux jours,
Dites a ma bien-aimée
Que je l'aime – toujours...»¹³

Рождество. Лет 15 назад. Запах воска и мандаринов, запертая зала, у Лёры в комнате пахнет жжеными волосами, она завивается; на нас клетчатые платья и новые башмаки на пуговках, кружевные накрахмаленные воротники на плечах.

Через день – полное счастье! Первый день Рождества. В картонных коробках, в зеленых стружках (травы) – звери. Цветные карандаши. Poupée de Nurenberg,* в голубом шелку. И мотив Тореадора из заводной Андрюшиной музыки!..

И еще волна. Но я уже не могу! Я не хочу, я отказываюсь вспоминать!! Как перенести разнообразие жизни? Научите меня, кто-нибудь!

Все клочки, все клочки, никогда я не соберу всей жизни моей воедино! Все случайно: если бы я начала письмо Л., я бы осталась с ним на весь вечер. Но вот прошло 10 минут, и я от него уж на тысячу верст. Вдруг тоска о Марине... куда, куда, куда, к кому идти? Никто не знает меня всю, я это утверждаю. Только я. С Мариной я могу лечь на ковер, пить

* Нюрнбергская кукла (франц.).

вино, кофе, греться у печки, говорить удивительно, с отчаяньем, «до конца»... Но до конца ли? Нет. Ибо есть С. К нему? Да, к нему, но...

Как я себя расскажу? Мне было 10 лет. Я читала «Wilhelm Tell», «Lichtenstein», и Müsüus «Märchen».* Мы с Мариной пили пиво, и она шла топиться в Obere Alb (оттого, что я ее «не понимала»), (ей было 12 лет). Все, что можно о себе рассказать, все не то. *Надо было нас видеть.* Мы не были ни Wunderkind'ами, ни принцессами, ни галчатами, выпавшими из гнезда. Это все уж названия! Мы были – мы. Марина была толще, я тоньше.» Она обожала Наполеона, мама – Людвига Баварского, я – Эдисона. Я клеила коробки. Мы целовали собак, и бегали ночью по горке, в Ялте. Потом была революция, Марина бредила Спиридоновой¹⁴ (а два года до этого она мечтала умереть за Христа). У нас были подружки немки, и англичанки, египтянки, француженки. Одну из них звали Aglaé, другую – Brunhild, третью – Violette. А в Schwarzwald'e мы жили высоко, в горах, ходили вдвоем в глубь леса, и хотели увидеть die Waldfrau...** Ах сколько было! Ведь я живу 20 лет! Я из них помню шаг за шагом – 14–15 лет.

С. меня «знает»! Г. меня «знает»! О! Разве они видели меня, в двух парах очков, бегущей, сломя голову, по гимназической лестнице, за руку с Аней Калин! Разве они шли со мной, когда в Пачевской долине я говорила с Мишей о баррикадах; мы пели «Похоронный марш» и жгли костры. Разве они держали в своих руках мои руки в мои невозвратимые 16 лет! Разве...

Я никогда не сяду у чьих-нибудь ног с чувством, что он меня знает. С. знает (как я говорю) мое «основное». Но что основное – знаю ли я? Звездная ночь в Ялте и Лайка, которую мы покрывали тряпками, или... и все печки, которые прогорели! Все прощания у фонаря! Все звонки! В 8 лет я играла на цитре «Andreas Hofeg», – ах, помню: «Adé, mein Land Tyrol»...***

«А Напон»: 3-й номер (назад), он мне не удавался!

Боже мой! Люди меня «знают»! А тот месяц, который я 17-ти лет, в начале беременности, проездила одна за границей,

* Вильгельм Телль, Лихтенштейн, сказки Музеуса (нем.).

** Лесная фея (нем.).

*** Прощай, мой Тироль (нем.).

входила в вагон в большой шляпе под вуалью, с браунингом в кармане, и тосковала о Б. Меня звали signorina, и расспрашивали о России.

Флоренция, Венеция, Рим, ночь в Милане... Или как рано утром, на зимнем рассвете, два года назад, мы обе в маминых шубах старинной моды, шли, как видение, по улице, и нас осматривали с изумлением. Был мороз, и деревья стояли в инее.

И помню Lido. Я и два гондольера. Пьяццетта. Огни. Пароходики. Posta centrale. Grand canal.* Ночь. Hôtel Terminus. А в Риме — Hôtel Milan... Кто это знает? Мне ближе видевшие меня кельнеры и носильщики, чем люди, знающие меня!

Я столько была одна. Где все это? Кто это видел? Ночь в Nabresina. Я ехала из Варшавы в Геную (а мой вечер в цирке, в Варшаве, когда я послала побежденному борцу — букет! И собор, где я молилась у всеобщей...). Ехала я с молодой итальянкой, веселой; говорили по-французски; она везла с собой игрушечного медведя, я его помню. На таможене карабинеры, в коротких пелеринах и с перьями, осматривали наши багаж. В Nabresina почему-то была пересадка, хотя билет был взят diretissimo,** и я должна была переночевать в гостинице. Я шла ночью, с моим факино, в неизвестную темную улицу, гудели гудки... Мне было 17 лет. Никто обо мне не заботился! О, моя странная, моя глубокая жизнь!

И никто не знает (а я помню), о чем я думала, засыпая, в номере маленького Hôtel... А моя жизнь в Отузах, кто ее знает? Андриюшина няня, которая где-то в Орловской губернии, и которую я, наверное, не увижу. А было 30 вечеров мыслей и чувств.

Да, может быть, какой-нибудь закат, виденный мной в Bogliasco, или в Милане, мне перевертывает всю душу, и я сама себя уж не понимаю... А меня хотят «знать»!

Говорите. Принимаю все ярлыки. Я холодная? Так. Безнравственна? Так. Рисуюсь? Добрая? Чистая? Сошла с дороги? Ах, вступаю на путь?

Так. Так. Так. Верно. А заката-то Вы все-таки не видали. На Lidoco мной не были. Пароходики-то ехали, и Piazzetta была

* Центральный почтамт. Большой канал (итал.).

** Напрямую (итал.).

под луной. Вы не видели. Вы меня не утешили, когда я плакала над письмом, а сошел меня вез мимо форума. Вы не помогли мне сойти с подножки поезда, когда у меня закружилась голова, Вы мне не сказали...

А впрочем... я Вас люблю. И Вас. И Вас тоже.

Но я хотела бы иногда спрятаться от вас всех, закрыть на 10 замков мои двери, и делать Бог знает что: клеить коробки, прыгать на одной ноге, лежать на полу, петь «j'ai l'ame folle d'une espagnolle»!* говорить со всем, чего не вернуть, смотреть на огонь в печке, плакать над рюмкой портвейна, как в 15 лет, и... о! Разве я могу это высказать!!

Помню, как в Troyas !** ходила с «Lys rouge» на скалы, ложилась под сосны, читала, смотрела на море, думала о будущем, стреляла из wellodog'a – в волны; так же щурилась от солнца; и шаг мой был тот же.

Красно-золотые скалы купались в изумруде и жемчуге волн.

И опять: море, и дороги, и я. И так будет еще несколько лет, а потом нелепо канет куда-то, – и все кончено.

Мне вспомнился сейчас мой день в Лозанне, с Б. Перед отъездом мы заехали пообедать в ресторан. Там были окна из цветного стекла с древнегерманскими рыцарями. Мы пили (скромно, после всех вин) cidre (в первый раз) и заказывали maître d'hotel – обед. Рядом сидели за столиком какие-то муж и жена. И – нитка разматывается – мои поездки в Cannes, обеды в ресторанчике на какой-то тихой avenue, пальмы, берег моря, ровный плеск длинных, без пены, серых волн, тележки с осликами...

И мой вечер в Ouchy: до поезда остается полчаса. Я стою у самой воды Леманского озера, в которое тихо погружается солнце. Волны, как расплавленный металл, горят красным

* «У меня безумная душа испанки» (франц.).

** Труа (франц.).

*** Красная ляля (франц.).

огнем. Я держу в руках коробочку *petits fours*^{*} и кормлю ими двух лебедей, а они подплыли к самому берегу. Я стою и вспоминаю, как по этим самым местам я ходила восьми лет — 9 лет назад. Мы гуляли тут целым пансионом. Где эти девочки, с которыми так чудно было *jouer au rond, à la pierre*,^{**} бояться *revenants*,^{***} по воскресеньям стоять у мессы и *au salut*,^{****} с книжечкой и *chapelet*[†] в руках, а в классе учить про «*toi Mydas, qui a des oreilles d'âne*»^{††} (больше я, кажется, там ничего и не выучила...).

Вот тут мы шли мимо *Hôtel du Château*. И, перед отъездом в Шварцвальд, тут же провели с мамой последний вечер — была иллюминация, музыка, и мама говорила о том, что когда-нибудь мы все это забудем, или почти забудем, — вот свое детство в Ясенках она помнит хоть и в подробностях, но как сон. И потом мы шли между скамеек и публики, и говорили о том, что жизнь идет полосами: Москва, Таруса, Нерви, теперь Лозанна...

Я смотрю на землю, на щепочки, и не могу осознать, что это здесь было.

Б. в Женеве. С рвущимся, как пружина, из меня потоком тоски, я отхожу от воды в тень аллеи, иду, и с упрямством хочу себя почувствовать восьмилетней.

От солнца остался тоненький краешек... Господи! Да где же мама? Ведь невозможно, невысказанно, чтобы она исчезла *совсем, навсегда*, — точно растаяла в воздухе!

Я так же ясно, как себя в зеркале, вижу ее: лицо, блестящие карие глаза, чуть-чуть желтоватые; дуги бровей, высокий лоб, волнистые волосы, темные; клетчатую шаль на плечах, кольца (с бриллиантом и рубином, другое с сапфиром и обручальное), и большие белые руки. Все помню! Прекрасную игру на рояле — часами, и то, что она любила Шекспира (а я его совсем не люблю), и то, что она была деспотична — характером и жалостлива душой, и то, как читала нам «Ундину» и «Рустем и Зораб», — замок Рингштеттен, Гурдаферид, и то, как она сидела в «маминой гостиной», положив

* Печенья (франц.).

** Играть в круг, в камешки (франц.).

*** Привидений (франц.).

**** В поклоне (франц.).

† Чётки (франц.).

†† Про царя Мидаса, у которого были ослиные уши (франц.).

ноги в меховой мешок, и писала, светила зеленая лампочка... Я помню почти все мои 11 лет жизни с мамой! И низкий голос, похожий на мой... *Где же это все?* Еще есть ее гитара, и шаль еще недавно была, есть целая этажерка нот, все вещи, вплоть до поздравительных карточек от знакомых... В зале консерватории до прошлой зимы, на одном из кресел стояло имя: «Мария Александровна Цветаева». —

Сыростью потянуло от озера. Солнце село, волны желтеют и меркнут. Ветерок. Пора! Как бы не опоздать к поезду.

Я прошу каких-то людей подождать *taxé*, сажусь, дверцы захлопнулись, и по тихим улицам Лозанны везет меня, мягко подпрыгивая, автомобиль. Я откинулась на спинку. Справа и слева мелькают дома.

Вспомнились мне сейчас утра наши с Б. во Франции, поездки ранним поездом из Troyas в Cannes. Этому четыре года. Но этому уже вечность, потому что этого никогда не будет.

И зачем было?

Как на кинематографической ленте, подробно и бесцельно, мелькнули улицы, рестораны, универсальные базары, площади, *café*, магазины; сколько мы прочли вывесок, во сколько входили дверей, скольких кельнеров и *garçon* — лица я еще ясно помню; я еще воскрешаю во рту тающий вкус огромных иерусалимских апельсинов; тени в скверах от пальм, скамейки, гравий, песок, ровный прибор длинных голубоватых меланхолических волн...

Я помню себя в элегантном пальто с огромным воротником из шелковистого бархата, спадавшим на плечи и грудь мягкими складками, в большой, с черными маргаритками, шляпе — и зонтик помню в руке.

Я помню, широкой волной на все дни разостлавшееся настроение — безделья; ласковое безразличье к тому, день ли сейчас или вечер. Запах сигар, запах фиалок. Запах воды. Бесцельность денег в щегольских портмоне, наши чуть скупающие фигуры, у ветрин...

День склонялся к полудню. Наступала жара. Усталые, с массой пакетов, три четверти из которых мы бы легко бросили здесь, мы входили в широкие двери какого-нибудь пустого *café* —

Рай; отдых.

Вмиг мы становились друг к другу ласковы; забывались споры о направлении улиц и часе отхода поезда — карта вин в руках Б.; на серебряном блюде нам несут *caviar russe* — о, блаженство!

Как элегантно движение, с которым я, устало, снимаю из тонкой замши перчатку.

Как брезглив над подносом с ящичками лучших сигар — Б.

Как почтителен *maitre d'hôtel*.

Светло сочатся из кусочка лимона на тартинки с икрой — капли. Тонка и ароматна *aigreur* этого странного блюда!

Взглянув на нас, кто бы сказал, что мы муж и жена! Как безнадежна чувствовалась жизнь впереди — полное отсутствие будущего. И как мудры были мы в 17 и 19 лет, иностранцы и путешественники — что не глядели вперед.

И, ведь, мы, вправду, ничего не хотели!

И в ласковости, с которой мы обращались друг с другом, все уж было — вне мер.

Я вижу лицо Б., острое, строгое, сигару у губ, синий дым, светлое золото легких волос, отброшенных; и задумчивый взгляд пронзительных синих глаз, в которых — щемящий мне душу холод, — полное его одиночество!

И мое — полное. И его ребенок во мне. Тьма над будущим.

Отодвинув тарелку, я развязывала пакеты и свертки — о, изящество желтого маленького деревянного веера, с ласточкой.

И кольца к салфеткам. Шкатулка. Портфель. Шелковые тяжелые галстуки.

Наклонясь над дорожной чернильницей, Б. рассматривал тонкий узор гирлянды фиалок.

За окном несея — и стекла тихонько звенели — открытый автомобиль.

Я помню, как вечером, зимой, я спускалась по крутой каменной мокрой и темной лесенке, ведущей в кухню. На мне было черное платье из бархата, круглая бриллиантовая брошь и кольцо с бриллиантом. Выйдя от тепла вечно-горящего камина, я куталась в боа и дрожала от холода. Я шла сказать

что-то об ужине. И вдруг — я остановилась на ступеньках, и у меня безумно забилось сердце:

«Когда-нибудь, и это наверное, это более наверное, чем этот день, я буду лежать в точно таком же мраке и сырости, в полном мраке и под тремя аршинами земли!»

Рванув дверь, я громко крикнула прислуге приказание, и, держа платье, брезгливо, с поднимающейся тошнотой, цинически, как бы закусив удила, улыбаясь, побежала наверх.

У камина, в комнате Б., сидели у огня несколько человек, и увидев меня, уже приготавливали мне место. Я поглядела на них страшно-острым, внимательным и одновременно широким взглядом, и молча села у огня. Меня укрывали маминой бархатной шубой. Прекрасные лица всех нас были ярко освещены.

В комнате Б., часто и при мне, пели романсы и песни, и меж них — песню о Стеньке Разине, утопившем княжну. Мне — не знаю, но тонко чувствую, почему — каждый раз при этой песне становилось горько, одиноко, оскорбительно, меня заливали тоска и негодование до самых краев сердца. Я слушала, опустив голову над чашкой чая, веселые молодые мужские голоса, певшие так беспечно, так юно, так пошло-юно, как мне казалось, гибель персидской княжны от руки атамана Разина — и мне мнилось, что они сами таковы, все, до единого — беспечны, грубы, поверхностны, через край налиты своим мужским правом, гордостью, спесью, каждый из них бросит в воду «княжну», как только «друзья» станут не его дороге с насмешкой.

Я могла бы легко тогда дать себе волю — безумно, до иступления плакать о персидской княжне — о, тонкие ручки и ножки ее, узорные тувельки, о, тоненький звон запястьев и ожерелий, «о, ночь, о, глаза», прослужив удовольствием 2-3-х ночей плебею и хаму, все это было залито водой, превратилось в труп, — из-за воров и разбойников, из-за их мужской спеси — о, гадость!..

Они пели. И мне казалось тогда, что это меня они топят, во мне все кипело и угасало, мне хотелось встать и сказать им, что я их презираю, что я — всё, а они — студенты, — но что-то горечью держало сжатым горло, в котором уж стоял и душил меня — клубок.

Я постоянно жила на самом краю души. Это была лихорадка. Я тогда знала только слова, как: смерть, любовь, безнадежность. Мне не хватало воздуха. Потому я пила эфир. Жизнь всех вокруг были: спокойствие и обыденность. Моей жизнью были: нестерпимая красота – и смерть.

О всех я тогда могла бы сказать брезгливо: «Как они молоды... молоды... молоды...»

С какой жгучей болью я вспоминаю порой – и как ужасно бесцельно – мою жизнь три года назад.

18 лет. В тяжелой (на лисе) черной плюшевой шубе я возвращаюсь по снежным переулкам Арбата к Собачьей площадке; вижу издалека свет в комнате Б. Я вся – в пакетах, и наклоняю лицо, чтобы не дул ветер в шею. Я несу торты, ананас, или вино, сейчас будет чай, я вижу, за шторками смутные тени людей, значит гости.

В душе была полная, счастливая пустота.

И вот я звонила. Те две минуты, которые шли на отпирание дверей, были мучительным напряжением слуха – узнать, чьи шаги; я трогала штукатурку у двери, смотрела на медную дощечку с надписью: Б. С. Т., кто-то сбегал по лесенке. Щелкала цепь, и, отряхая легкие пласты снега с плечей и глубоких складок рукавов, я входила, стуча ботинками и улыбаясь отпиравшему.

В детской Андрюша засыпал, в конвертике, на руках у кормилицы. В моей комнате было темно: еле мерцали на стене рамы и бусы, и на фоне окна вырисовывались помпоны тяжелого занавеса, разделявшего комнату на две части.

Я останавливалась на миг над грудой свертков, в полном забвении. Сердце стучало. В комнате Б. раздавались взрывы смеха, игра балалайки, няня несла антрацит для камина... Остро сверкала у меня на груди – веткой ландыша – бриллиантовая брошь (еще мамина) и два-три кольца на руках.

Монотонное пение несло от Андрюши.

Зеркало отражало мне нежное, розовое от мороза мое лицо; на золотистом изгибе волос блестели растаявшие снежинки.

Я дышала на замерзшие руки. В столовой вдруг раздавался громкий голос, кто-то шел ко мне. В буфете звенели посудой.

Это были часы, когда во мне угасали – остатки «добра и зла».

Он приходил, и часто вдвоем с Б-вым в 2, 3, 4 часа утра, после игры на бильярде, выпив много вина. Он уходил, не говоря куда, и никогда не отвечал на мой вопрос, когда он вернется. Мы почти никогда не бывали наедине. И запершись в своей комнате, рядом с детской, где няня укачивала Андрюшу, я часами писала дневник, подводя сотый итог своей жизни, которая с ясной насмешливостью рвалась у меня на глазах.

О! Я не могла позабыть того Б., который входил, медленно, почтительно, в мою комнату, два года перед тем, с которым у меня до полуночи шли блестящие и нежные разговоры, с которым я каталась на норвежских коньках! Но *этих* часов не знал тогда никто, даже и Б-в. Я даже не знаю вдумывался ли когда-нибудь Б-в в мою любовь к Б. Для него Б. был товарищ, друг, бесконечно – интересный и близкий, но что он мог понять в нас двух, видя нас в постоянной легкой вражде, доходившей до грубости? Не казалась ли ему наша любовь – ошибкой, как казалась всем?

И когда он входил ко мне, я никогда не говорила ему, о чем я сейчас думала, он так и не узнал всей смертельной тоски, заключавшейся в моих отношениях к Б. Да он и не мог узнать: потому, что когда он был со мной, я не думала о моем прошлом, я не любила Б. и не жалела его, я вся становилась иная; и вот этот-то блеск мой он и знал: стояние на краю пропасти, разрыва, конца, смерти. О! Это был истинный танец на канате!

Я рвалась из цепей моей сложившейся жизни, и в то же время, как я насмешливо сама говорила о «новой жизни», я знала хорошо, что она была невозможна, я совсем не стремилась к ней, я ее презирала, точно так же, как и ту, которая шла. И как только разговор мог коснуться «счастья», «будущего», – я становилась еще гораздо надменней.

О! Начинать новую жизнь! Честно рвать со старой! Идти вперед рука об руку, да еще с кем! Со слушателем моего дневника, с юношей 19-ти лет, который, как былинка, качался

из стороны в сторону. С человеком, прыгавшим из третьего этажа, с человеком блестящим, как мы все тогда, и совершенно негодным для жизни, в сто раз менее годным, чем я!

Скажите мне, вы, кто слушаете, судите, понимаете, что мне тогда было делать?

Я ничего не делала. Я стояла подолгу, когда никого не было дома, в Андрюшиной детской, у натопленной печки, слушая разговоры кормилицы и няни, потом проходила по комнатам, шла в комнату Б., где было непривычно тихо, приказывала затопить камин, садилась у него. Иногда приходили Марина и С., мы оживленно болтали о чем-нибудь, а их поила чаем, угощала вареньем собственной варки... Выносили Андрюшу. Потом они уходили. Я мешала угли, слушала их легкий треск – словно звон, когда они падали. Темнело. Час обеда давно прошел. Няня укачивала Андрюшу... Вдруг раздавался звонок. Я быстро шла в свою комнату, прислуга шла отпирать – с шумом, смехом, громкими разговорами входил Б. с кем-нибудь из товарищей; зажигался свет, звучали их большие шаги, звонок за звонком, – и уж в комнате Б. балалайка, пение, в передней кто-то снимает калоши... – «Барыня, пожалуйста к обеду...». Я шла разливать суп.

Если когда-нибудь мне было суждено изведать, что такое – фактическая и полная безнадежность – так это тогда. Всем нам, так веселившимся в этом маленьком домике, были закрыты пути к какой-либо перемене. Мы стояли перед стеной, и все было должно идти, как шло. Уже не говоря о том, *кто мы такие были по существу* (а в этом сечетании нас и были главные причины безысходности и блеска нашей жизни), но просто по тому, как сложились сложные отношения всех нас, какое каждый из нас среди других занял место – все не могло иметь впереди никакой, кроме темной, развязки. Но в темную развязку не верилось, мы все были так молоды и, казалось, беспечны, что часто вся эта сложность походила на игру, не более. Уже отношения Б-ва и мои были мучительны и серьезны, в книге бы это было часом какой-нибудь перемены, а у нас все шло, как шло, и ни он, ни я не могли найти слова для названия того, что мы чувствовали. Мы так редко говорили о «любви» – это слово тогда было как-то слабо, невыразительно, оно не шло нам. Мы все говорили о

безнадежности (он, как и я, чувствовал ее всеми фибрами, хотя увлекался наукой и хотел верить в нее), о бесполезности всего, о смерти — какая же это была любовь! Как было шагнуть — от этого к «будущему»? Что было нам делать, как не любить друг друга — всем блеском ума и чувств, но совсем бесполезно. И мы продолжали жить, как жили — он — среди нас и среди занятий, книг, увлечения тем и тем, я — дома, в полной тьме отношений с Б., в заботах об Андрюше, в писании дневника, в разливании супа.

Но в темпе нашей любви все было оборвано и лихорадочно: мы редко бывали вдвоем, и у нас не было длинных бесед, как можно бы подумать, прочтя вышесказанное; отношения возникали и обрывались каждый день, ни он ни я ничего не знали о завтра, и не делам было уяснить что-нибудь — в хаосе наших вдух беспокойных жизней. Он понял и принял меня в себя всю, но ничего не было ясного в его поведении, кроме безрассудных вспышек нежности, кроме восторженных слов, кроме того, что он слушал, словно музыку, мои речи, кроме того, что и ему и мне становилось все более душно!

Но уже было ясно, что это — на всю жизнь. Что расстаться мы никогда не сможем. И он писал мне: «Ася! Говорите, говорите, и я без конца буду слушать Вас!»

Никогда в другой раз в моей жизни я не испытала *таких* дней, как с ним, и если все же надо назвать, *что это было*, я скажу: это было безрассудное, жестокое для обоих, но самое *настоящее счастье*.

Он был юношей, он не был мужчиной, и удивительно то, что и я не была *женщиной*, как это принято понимать. Только теперь, оглядываясь назад, я вижу, как все это было фантастично, — более тонких, более нежных, более *верных* отношений не могло быть, чем тогда были между нами. И в то же время все это было абсолютно лишено физических желаний, ни мне ни ему ни разу не пришла мысль о возможности принадлежать друг другу. О! Тут все было гораздо глубже, совсем смертельно!

Я помню, как я лежала в постели, в рубашке, с распущенными недлинными волосами, у меня совсем был вид девочки;

я была худее, чем сейчас, детского фасона рубашка с узенькой отделкой и меткой А.Ц. (еще мои детские). Горела лампадка, мерцали портреты мамы, нас – девочек, меня – подростком; ярко блестели цветные Венецианские бусы, покрытые легким слоем настоящего золота. Сухие цветы. Были спущены тяжелые шторы, он сидел рядом со мной, держал мои руки, любовался моим лицом, мы говорили, что когда-нибудь поедем вдвоем за границу...

Уж лампы были всюду потушены, он входил в мою комнату, нес чай, покрывал меня маминой шубой с массой рассыпавшихся бархатных фалд, слушал мои насмешки насчет химии и философии, брал мои руки, и вот начинались *наши* часы.

Я раскрывала дневник и читала. Он слушал восторженно и смущенно. Он не знал, как же примирить, сочетать ту огромную надежду, тот смысл, тот ясный свет, который он видел в науке – с той абсолютною безысходностью, теми лиризмом, иронией, тем все возрастающим блеском, которым веяло от моих страниц.

«...В жизни нет ничего, кроме романтизма. В мире нет ничего, кроме грусти. В небе нет ничего, кроме пустоты. В человеке не может быть ничего, кроме жажды, и мир не должен ее утолять! Никогда ни перед кем я не буду права. Никогда я не буду царем положения. Я не сделаю ни одного из тех вечных жестов, которыми держится мир. Я слишком чувствую смерть и ее неопровержимое приближение в каждой минуте. – Я слишком гениальна, чтобы оставить след. Я умру, высказав меньше, чем кто-либо!

Если б были еще храмы эфесские, я бы сожгла их все! Если б я верила в Прометеев огонь, я бы его добыла!

Но их нет. И в огонь я не верю. И сделать ничего нельзя!»

...«Кант и Декарт¹⁵ оба одинаково правы, потому что оба одинаково не сделали ничего.

Не надо ни книги, ни науки, ни стихов, ни красок, ни музыки, – нет ничего, все сон. Есть только бесконечно пустое небо над нами – и мы!..»

Сжав мои руки, позабыв о химии, он говорил:

– Что может быть лучшего, чем умереть – с Асей?

Я говорила надменно, что я хочу жить. Что завтра он будет сидеть над ретортами. Что он когда-нибудь будет любить другую – я буду тогда уж далеко... Я вся поникала. Я делалась холодна. – «Ах, мне ничего не нужно!..»

Били часы. Он сидел молча и вдруг ронял голову на мои руки, и говорил с отчаянием и с восторгом:

— Ася, Вам нечего возразить...

На другой день я сидела за чайным столом и слушала их разговоры об университете. Приезжал в гости папа, выносили Андрюшу, папа смеялся с ним, говорил, что у нас холодно, что он пришлет дров... Спрашивал, не хочу ли я новое платье. Рассказывал о музее. Потом, взглянув на часы, медленно вставал, целовал меня, молодые люди провожали его до передней. Час спустя мы все сидели у камина, был шум, пили вино.

Но, Боже мой! Я ничего не сказала, если не сказала того, что меня тогда любил М., что он все понимал, и что я — начинала его любить.

Ах, мы бывали в театре. Я носила платья со шлейфами. Ах, я была красива! А мой костюм пажа! Берет, и перо на берете! А это Рождество, о котором я ничего не сказала, с которого все началось: маскарад, и у камина все ночи — чтение моих дневников!..

И потом вдруг, все кончилось, сразу! И кто, кто же поймет этот день, день его похорон, по улицам (был первый весенний день) таял снег, первые облака, цветочный магазин на Никитской... Нет, нет.

Это было три года назад. В Москве стояла весна. В тихом Борисоглебском переулке в часовне горела лампадка перед ликом строгого святого. Я часто молилась ему, став на колени у окна, в одной из передних комнат, среди груды книг, лежащих на полу, Со смерти Б-ва прошел месяц. Он казался годом. Мне было 18 лет. Андрюше было 7 месяцев. Б. был где-то вдали — не то в больнице, не то у матери — наша жизнь с ним была порвана; во что сложится жизнь, что со мной будет, — я не знаю в своей жизни другой такой смутной поры.

Я была всеми брошена. М., вставший тогда на мою защиту и полюбивший меня, — по просьбе моей только что уехал в Иркутск, и был еще туман от дней, от безумного напряжения разговоров, бывших с ним. И мои 18-летние плечи вынесли все без малейшей помощи — гибкостью, покорностью, чудом!

Смотрите, каким цветком распустился шатавшийся стебелек, склонявшийся ниц к Евангелию, к добру, перед лампадкой.

По вашим приговорам, по всеобщему осуждению, я, как по лесенке взошла наверх, — где прекрасно! — и солнце ласкает атлас моих лепестков, и небо широко надо мной!

Вечера. В громадной квартире — тени, тьма, тишина. Стуки. Далекая улица. Моя комната самая глубокая в доме. Рядом — Маша, толстая, добродушная, моет посуду, брызжа по сторонам грязной водой с мочалки. В детской, длинной комнате с розовыми обоями и тремя высокими окнами, кормилица ходит с Андрюшей на руках, он в батистовом платице.

Звонок: А. брат. Он проходит в свою комнату (он временно переехал ко мне). В столовой накрыт чай и ужин. Андрюша заснул, и там тихо. Кормилица, поднявшись с колен, с затихающим «ааа - ааа», на цыпочках выходит к нам, улыбаясь. Ее худое лицо, серое платье, — как сейчас вижу.

— Ну что, уснул? — спрашивает А. Маша несет что-то из кухни. Шумит самовар. Я отдыхаю среди этого мирка, стука посуды и разговоров, потому что весь день меня мучила тоска.

Ночью доносится сонное бормотанье и голос кормилицы: «ааа...»

Утро: солнце, за окном вербы... Заря, вечер, грохот города... Андрюша в колясочке играет с цитрой. Куда мне идти? У Л.А. прием. К Марине? Но там мне так ясно видится Б-в, в зале на этажерке стоит золотая корона, которую мы клеили для его маскарадного костюма. А Марина... Нет, она сейчас не понимает меня. Однажды я пришла туда с невероятным приливом тоски, мне казалось, что я скоро умру. Марина и С., которым я сказала о моем чувстве, стали меня утешать, но так весело, что я поняла, что они не почувствовали, что со мной.

Я помню себя идущей по улице, вижу, как откидываются полы пальто, над заборами уж зелены веточки. Далекий грохот Москвы. Я шла, и у меня слезы подступали к глазам, в невероятном волнении. Днем я ходила гулять с Андрюшей, и все обязанности по отношению к нему исполняла строго и свято. Вечером я играла с ним, но он не шел ко мне на руки. В постели я читала Евангелие. И ночью снова наступила бесконечная тишь.

Помню, как лунным вечером, я шла по Поварской. Я думала о добре. Мне казалось, что добро в себе заключает все – и красоту тоже. А красота меньше добра. Путь мой должен был быть теперь путем отречения. И дома, снимая с пушистых волос большую бархатную шляпу, я подумала, что если бы болезнь обезобразила меня – я бы не дрогнула, только бы улыбнулась в ответ.

И мне, мне, которая все это испытала, которая все года несет непосильные тяжести, мне смеют говорить, что я не понимаю добра, что я его отрицаю из жажды оригинальности!

Когда я начинаю так о себе думать – я задыхаюсь. Я знаю, что правота моя равна по величине – всему существующему. И я только без сил опускаю свои гигантские крылья, ибо ничего не могу доказать!

Если узнать обо мне – что было, что есть и что будет, все счастье моей доли, всю жестокость дел – я покажусь чудовищной и преступной.

А я

– я стою, распростершись в лазури чистой и голубой, и я сияю, и мое сердце горит, как звезда!

И Бог, и боги, и все, кто имеют право судить – умолкли. Ибо тут превзошло что-то – их ожидания. – И нет слов. И опускается мечь!

За преступными плечами моими вдруг встала Голгофа.

Имя мое звучит, как будто имя ребенка...

В тревоге, судьбы закрыли лица свои!

Я каждый день ездила на могилу Б-ва, ставила цветы, смотрела, горит ли лампадка, и говорила со сторожем. Когда он уходил, я становилась на колени и целовала влажный песок холмика. Было тихо. По дорожкам проходили мещане, женщины в косынках, дети в розовый платьях, грызя семечки.

И помню еще: день рождения Б. Ему исполнилось 20 лет. Мы поехали к «Диане» покупать винтовку. Было оживление. Над Лубянской площадью гремела гроза, тучи неслись по сиявшему небу. И первые капли дождя сразу запятали

мостовую. Я села в трамвай, весело и нежно простясь с Б.; я была ему благодарна за ласку, я с ним провела два дня, мы решили снова жить вместе.

Я была красива в этот день. Вуаль так нежно отдаляла от взглядов мое лицо. Но как только Б. исчез из глаз, меня охватила тоска. Эти два дня он все говорил обо мне, он мне меня объяснял, и гипноз его слов закрыл от меня все иные края горизонта.

Да, все так. Я та женщина, которую ждало много поколений мужчин, я – неизбежность, я – создание чужой воли. Я создана, чтобы быть прекрасной, чтобы всех губить и самой погибнуть. Спасения не может быть ниоткуда. Вины на мне тоже нет. Те, кто меня поймут, не осудят. Но почти никто не поймет.

А мои порывы к добру, к чистоте, что ж они?

И уж во мне готово забушевать целое море, когда ум мой остро дает ответ:

«Если бы всего этого в тебе не было, ты бы ничего не стоила. Все должно быть, как есть. Именно: тебе должно быть не 30, а 18 лет, ты должна быть прелестна, невинна, трогательна. И что любишь собак, и целуешь их – все это нужно. Читать Толстого, читать Евангелие и больше, – все бросить, уйти в пустыню – великолепно! А все-таки кончишь тем, что погибнешь под ножом, как Настасья Филипповна.¹⁶

Так смотри же скорее в небо, любуйся радугой, слушай грозу, целуй собак, пиши – все равно, сожжешь, значит можно! Спасай утопающего – все равно, завтра сама на нем затянешь петлю, езд на кладбище – завтра полюбишь другого, и, если легче, что ж? плачь над собой!»

Трамвай тем временем заворачивал к Университету. Вот часовенка, где стоял гроб Б-ва. Студенты идут. Дождь перестал, свежо. Боже!

И все это – для чего было? Для того ль, чтобы теперь, 3 года спустя, я обо все этом так красиво писала? А я слышу еще, как хлопает калитка дома Марины, из которого я выхожу, чтобы снова идти к себе, весь день одна; и смутные часы, когда, глядя на себя в зеркало, я не знала – согласилась ли бы я стать уродливой.

Когда тихо, задавленная глыбами происходящего, во мне билась – жизнь.

Я вспоминаю, как, бывало (тому скоро 4 года), ждала ночами Б.

Тихо. В Предтеченском переулке была глубокая ночь, мимо шли шаги, очень редко. Я лежала, часами ожидая знакомых шагов, с трепетом; что-нибудь читала или шила – от сна.

За итальянским окном была мгла. Прислуга спала. И вот раздавались шаги, и я их узнавала; я вскакивала, становилась на колени и молилась «чтобы исполнилось» – но не было сомнений: сейчас раздастся гул дверей, и потом резкий короткий звонок. Но вот все тихо, проходят полминуты, минута – тихо. Неужели не он? Сердце бьется. Тихо. Не он. Шаги замирают. Я ложилась. За стеклом окна порой неслась чья-то фраза, и затихала вместе с шагами. Стенная, мамина, фарфоровая, на резном кронштейне, лампа с матовым шаром, начинала гаснуть. Часы били час, два, три. Я теперь ждала уже из упрямства – чтобы, придя, он не застал меня спящей. И уже проходила любовь к нему, проходила вся тоска ожидания, наступало что-то другое – из тайных недр подымались воспоминания о других временах, о Трехпрудном, о детстве, о юности, о моем «магическом кабинете...» О! Если бы это увидела мама?

И в эти минуты я уже забывала *кого* я ждала. Я себе казалась женой, ждущей мужа. Я забывала, что ему 19 лет, что он так же прекрасен, как я, и так же *во всем невинен*, я все забывала, все силы, потраченные на него, мой крутой поворот дороги, и то что я хотела отныне лишь одного: нести его на руках!..

Часы били раз. Нет, он не придет ночевать, это ясно. Надо спать. Конечно, он не придет. И вот только вдали раздавались шаги, и были крупные, громкие, так тотчас же снова казалось, что он *может* прийти, придет, наверное. Надо ждать. Снова волна любви. Было 4.

Есть какая-то испорченность, казалось бы, в том, чтобы так вызывать в явь – прошлые ночи. И еще теперь, когда я не задрожу от этих шагов, когда – все другое. Но во мне это не так.

Эти ночи *были*. Было глубже и больнее, ужаснее, безнадежней, чем я описала – *и вот это-то и дает мне какое-то тонкое право писать.*

Я бы не стерпела того, чтобы написать ярче, чем было.

Я всегда в себе – полусознательно, оставляю какой-то осадок на самом дне души, терпкую мусть, которая не ляжет ни на какую страничку, и в которой «вся суть – то и есть».

Пока нет этой мути в том, что я пишу, все так, можно.

А я ли перейду границы?

И как бы художественно я ни писала, только я у себя знаю тот жест, с которым – оставляю тетрадку, и сжимаю голову руками, без сил!..

И только есть разговоры – где я говорю так, как было. Но тогда – как неизящен рассказ и как хаотичен. Как дрожит мой голос, и как потрясен слушатель.

И как тогда уж все ясно: новое счастье! Как все – тайно. О, какая тогда стоит глубокая и какая безнадежная ночь!

Уж тогда не слушатель ты, а действующее лицо, – новый рассказ начинается...

Будущей мукой – в этот час обретаю я право – говорить тебе все!

Но если мой голос стал тих, перестал дрожать, если пред тобой я, торжествующая, – восстаю!

... и мнится тебе и мне, что на развалинах моего прошлого мы построим замок, достойный меня, – кто решится шепнуть тебе в этот миг, что эта ночь будет – прошлым! Камнем в развалинах.

Что в теплом трепете моего голоса, в великолепии этих часов – весь залог, все обещание, вся неременность – прощального часа!

И кто же из вас, праведники и фарисеи, в такую ночь подымет руку и бросит камень – в меня?

Не запрёт ли каждый из вас, проходя, дверь мою – еще глуше – вздохнув!

В меховом коротком пальто и боа, в черной шапочке с белой вуалью я перехожу площадь в конце Тверской, и вхожу вверх по ступенькам серой часовни. Теплый запах свечей и

церкви. Мерцание золоченых риз. Трепетные огоньки бесчисленных свечек. Я стою, несколько раз крещусь и выхожу обратно на площадь.

С трудом отперев тяжелые двери, я вхожу в театр. На лавке, у окна с глубокой нишей, через которое тускло проходит свет дня, сидит швейцар. Посыльный в красной шапке объясняет что-то господину в цилиндре (кто он?) — слышу: «ложа бенуара, партер». Я спрашиваю, где касса. Вхожу в коридоры театра. Вдали освещена арка. Бледно сверкают подвески двух больших люстр, негорящих. Своды. Где-то гулкий шаг. Тишина. В глубине крошечное окно кассы, в нем теплый свет. Я поднимаю к глазам лорнет, и навсегда погружаю через него в свою душу эту картину. И на миг мне кажется, что когда-то, очень давно, я все это видела.

Вдоль рельс трамвая, по грязному снегу, утопая в лужах, я иду мимо Охотного ряда, погруженная в чтение листка Петроградского телефона с известием о взятии города З. и о попытках Вильгельма к миру.

«...наши доблестные войска...» Сердце бьется. Геройский подвиг такого-то. С криком «не выдавать, братцы, вперед, за мной!» — полковой командир бросается в атаку. Я читаю, листок дрожит, у меня слезы заволакивают глаза.

Как я люблю эти долгие весенние дни, когда, в запахе нафталина, стоишь на коленях перед сундуком, из которого одни за другим вынимаются: мех, шали, платья, шкатулки и кружева, еще тонко пахнущие духами сквозь нафталин, осыпающийся с них наподобие серебристого дождика!

В приоткрытые форточки входит тепло, и уж солнце клонится вниз, где-то на соседнем дворе играет шарманка. Грохочут колеса. Крики детей, воркование голубей, пахнет тополями.

Усталая, я присела у сундука, опершись о его край, другой рукой придерживая тяжелую крышку, бесцельно глядя перед собой, о чем-то задумавшись. Вокруг меня на стульях, ковре, комодe — груды всевозможных вещей; смятые куски папиросной бумаги, покрывающие причудливые коробки, футляры, обрезки шелка и кружев. Платья. Какие-то допотопные пелерины, тяжелая шуба, утопающая в бархате своих складок, цветная шаль, расшитая скатерть, стопки белья, — свидетели

и друзья всевозможных эпох моей жизни, и бабушкиной, и маминной, — сколько людей прикасалось к этим вещам, сколько раз их укладывали, вынимали, моды менялись, вещи становились смешными, нелепыми...

Кажется, нет в мире грусти большей, чем сейчас в этой комнате. Острые, как игла, чувства, чувства непередаваемые, как запах этой шкатулки, сосут мне сердце. *Nice, Biarritz, Andenken an München, Souvenir de Lausanne*,^{*} длинные синие крылья ласточек, летящих по блестящему желтому фону маленького деревянного веера...

Предметы бесцельные, предметы роскоши, полные пыли и времени,

— над вами тихо стоят тонкие запахи, от которых изнемогает моя чувствительная, неповторимая в веках — душа!

Косой длинный луч яркого прощального солнца упал на уголок бархата и на кружевной воротник, полуупавший со стула. Шарманка смолкла. Сейчас надо — не жить. Сейчас надо...

В форточку легенький ветерок несет тополиный запах; мимо окна топот детских ножек. Медленно начинает темнеть...

— «Годы давно прошли,
Страсти остыли,
Молодость, радость прошли...
Белой акации
Ветви душистые
Вновь ароматом полны!»

Что в мире стоит за меня? Где гора, на которую я могу опереться?

Музыка.

Здание мое — построено ли на песке?

Да? Не спорю.

Слушаю. Вальс. Слушаю. Слушаю.

Слушаю. Я права.

Вальс звучит. Я права. Я черпаю силы.

Но как душно, какая тоска от моей правоты, которая все обнимает. О, как душно! Я ничего, ничего не могу рассказать!

* Ницца, Биарриц, память о Мюнхене, сувенир из Лозанны (нем., франц.).

Еще раз: пока существует вальс – я права. Пока существует вино – а оно будет существовать до тех пор, пока земля мчится по своей идиотской орбите, – пока в граненых рюмочках (наш век) и в неизвестных сосудах (будущие века) блестит и благоухает веселая и насмешливая магия, до тех пор я права. До тех пор мне не возразит *по существу* – никто, ни полслова. Меня *будут* понимать. Да. *Будут* часы мне близкие. Будут часы, когда душно, и когда земля под ногами качается, когда мнится, что подтолкнуть ее вверх или вниз – ничего не стоит, когда человек стал больше планеты,

будет час, когда тихо, ночь, совершаются чудеса,
будет час...

И все будет: презрение к пьяным и на их счет длительные рассуждения. Бесповоротные осуждения. Искреннее сожаление. О! Вижу!

Вижу вас, цари земли, о которых все это скажется, вижу, чувствую. Я слышу те слова, которые в тишине будущих ночей вы будете говорить друг другу, и которые вы наутро забудете. И как кто-то из вас, отстранив, опрокинул рюмочку, разлив ее на ковер, слышу танец земли под вами, вижу

– на ровненьких полочках – кантовские тома; и ваши глаза, которые из чрезмерной ясности стали тяжелыми, мутными,

– «а земля летит, шум-то ее явственно больно слышится, как тут не рассмеяться?»* Как тут не налить еще рюмочку? Как тут, несуществующие друзья мои, не назвать вас царями земли?!

И музыка будет. И будет чье-то холодное и милое лицо рядом... И все будет!

Пишу, и вдруг вспоминаю: 5 лет назад. Weisser Hirsch. Я в коротеньком платье, в широкополой соломенной шляпе, иду мимо Kurhaus к König Albert Park; ** в руках у меня мешочек бананов, волосы лежат по плечам, солнце тихо клонится к западу, золотой вечер!

* Из сказки «О человеке и кирпичиках» (прим. авт.).

** Мимо курортного здания к парку короля Альберта (нем.).

Иногда меня охватывает такой ужас быстротечности времени, такое право жить, такой хаос чувств, такое общее отчаяние, до такой ужасающей остроты — что я не знаю: где те пути, где те наслаждения, где то счастье, где те чудеса, что могли бы меня утолить и насытить.

Точно кто-то рвет меня на куски!

Порой я в жизни люблю только вещи, мелодии, запахи, стихи, звуки.

Я совершенно изнемогаю от какой-то жажды, от счастья, от смертельной красоты, когда слышу запах сирени, запах дыма, костра. Или слышу в сумерки гудки поездов.

Куда меня все это зовет? К какой жизни?

К смерти, мне кажется.

Сколько чувств я хотела иногда разделить с кем-нибудь, перелить в другого, но — *безнадежно!*

Потому, что когда он был со мной — их не было. Тоска кладбища — и та с ним вдвоем была совсем особенна. Или — черная улица, забор и глухой шум голых ветвей, от которых мне страшно. Или звук рояля из квартиры, мимо которой я еду в освещенном лифте. Всего этого не передать. Таких чувств было уже безда. — Ах, тоска жизни!

У меня сердце болит от красоты моих чувств, и от трагического дара — ее описывать.

Сейчас, идя по Итальянской, я почувствовала запах Nervi. Да, да, он! Область запахов — какая громадная область! И какая жестокая, какая живая!

На Итальянской сияло солнце. Мы шли под арками. От них на тротуаре лежали резкие тени. И вдруг сразу встало Nervi, мама, «Кошечка», «Тигр», Володя — одуряюще сладко и сильно запахло: чем-то пряным, фруктами, фиалками,

теплом, и точно солнечными лучами, я увидела на миг гору и церковь St. Ilario, и Lavarello, и Capolungo, и все... И ушло.

Какая неведомая, страшная грусть для меня – в песне *«Не осенний мелкий дождичек...»* И еще есть мотив, заколдованный: *«Белой акации...»*

Есть ли что-нибудь общее между этими мелодиями? Я не знаю. Но всегда, когда я их слышу, меня, словно шум моря, охватывает тоска о счастье.

Ария Жермона из *«Травиаты»*, романс *«Я помню вечер»*, *Тореадор*, песня *«Вернись в Сорренто»*...

Но нет, не так. Не тоска о счастье, а – тоска быть отмеченной. Тоска о том, что я никогда не буду женщиной, которая себя не знает, живет, как все, не восставая ни против чего, чьи мысли – туманны и редки, как облака в небе, но которая полна неизъяснимого, таинственного очарования.

Да, будут и бал, и цветы и терраса, и низкий звук виолончели, и трепет в груди, запах духов, и может быть, я и буду Маргаритой Готье, но... все это пронизано моим «королевским сознанием», а оно есть медленный, но верный яд.

Женщина, идя на свидание, отдает себя всю. Ее шаг стремителен, но неверен, и счастье ее должно быть в словах «он хочет»...

Я никогда не буду той таинственной женщиной, которая вдруг расцветает в один трагический день.

Но музыка звучит, и я вижу: пышная анфилада зал, углубленная зеркалами, сияние люстр, и, сильнее духов, ночной аромат из сада, куда ведут широкие ступени, напоминающие Версаль... Ах! В этих мелодиях есть что-то пьянящее жизнью!

В Дворянском собрании было нечто невообразимое: в пользу раненых базар, что это было!

Залы неузнаваемы. Люди залили их потоком. Продавцы и палатки, зазывания, звук труб и шарманок, лотереи, пестрота, фонари. В большой зале устроена «Сухаревская площадь».

Русские мужики и бабы, кормилицы в кокошниках, турчанки на фоне тканей, продающие всевозможные вещи, джентльмены, дамы, неаполитанец, хохол, гул, треск, визг, настоящее Вавилонское столпотворение. Меня все это оглушило. Масса красивых лиц меня поразила и оскорбила.

Бархат чьих-то глаз, роскошь чьих-то плеч и платья, перо, шлейф, смех, чей-то звонкий голос; и то, как он целует ей руку, а она говорит с другим, и кому-то кивнула; и то, как сыплются деньги, и что у меня их нет, что я не могу бросать их пригоршнями в эту толпу, и еще множество чувств, давно меня оставивших, вспыхнули с силой.

Невыносимое самолюбие мешает мне жить так, как живут другие. И если я еду на вечер, то не иначе как в тоске. Никогда не бывало веселья. Меня все это ранит сотнями стрел. Какое же это веселье?

Да и как вынести то, что я в толпе незаметна, а эта турчанка с чудными косами ослепляет взгляд.

И я, которая лучше всех пою маскарад, я никогда не буду в нем – ни домино, ни маркизой, ни Коломбиной! Я его слишком хорошо воспела, я уже никогда его не переживу!

И я хожу по залам, наполненным маскарадной толпой, с лицом потухшим и утомленным, мне режут глаз – яркие туалеты, и слух – отрывки фраз. Меня все оскорбляет. Все слишком весело. Веселие ради веселия! О, пошлость! О, мой трагический маскарад!

И если бы вот этот неаполитанец мне сказал сейчас: «Маскарад лучше всего» – я бы ему надменно ответила, что я учу – философию. Философам я говорю:

«Сойдите с кафедр. Дайте дорогу – легко, гримасничая, танцую, идет мимо вас маскарад»

Я никогда не веселюсь на балах, в театрах, на маскарадах. Я всегда в тоске.

Ах, если бы я могла с толпой придворных врываться в блеск зал, и сиять, как солнце, – я бы, может быть, и смеялась! Но идти под руку с одним из моих друзей, который загляделся сейчас на барышню с черными локонами, иметь небезукоризненный наряд и лицо... Да и как это – «веселиться»?

* «Королевские размышления» (прим. авт.).

Я веселюсь часто: в комнате, в кинематографе, от рублевого торта, от песни, от луча солнца, от ничтожных причин – но чтобы веселиться на маскараде? И я там – пятое колесо, смешной придаток, – и барышня в фате, монистах и с алыми щечками – там в тысячу раз нужнее, милее меня!

Меня называют легкомысленной.

Но как я серьезна!

Меня называют рассеянной.

Но как я углублена, как задумчива!

И если я проповедую маскарад, – то сижу за книгой.

Этого не следует забывать!

Ночью, слушая вальсы, думала: что такое «веселие»?

Вот звучит танец. Бесконечность паркета, кружение, маски, звук скрипок, серебро рокочущих мандолин. Полет, покрывало, бубен, цветы, но если веселие – это последнее, что есть в мире, если тут же, всплеснув руками, надо умереть, то знаю: упав на ковер, раскинешь руки жадно, в тоске. Хлынут слезы... Музыка смолкла. И так – последний миг – все же скорбь.

Я в жизни люблю всего один миг. Когда в первый раз, не как даме, а как женщине, он несет мою руку к губам, взволнованный и молчаливый, и все тихо кругом, только сердце бьется, и впереди уж встает разлука, и все безысходно, как прежде. Но миг – наш, мой. Чужой становится близким. Еще раз чьи-то глаза говорят то, что не скажут губы. Еще раз – разговор до утра. Еще раз, по какому-нибудь городу, ходить, ходить без конца, и потом прийти ко мне, и раскрыть дневник, и прочесть предыдущие дни, и не отрывать своих рук, когда он их возьмет для поцелуя.

И все прошлое мое вспыхнет и ринется куда-то еще ниже.

И глядишь в глаза.

И кругом тихо.

И мне будет уже двадцать, и больше и больше, и, может быть, тридцать лет!

Я обожаю эту минуту, когда: держишь письмо; блаженное бессилие; тихо. И двое в мире. И неизвестность впереди.

Что значат все мои встречи? То, наконец, что я останавливаю собой так многих, почти каждого?

Чем мне себя доказывать?

Все законы и уверения, как марки без клея, тронув меня, отпадают сами собой!

Были вечера, дни, когда я могла, кажется, долго, долго простоять у окна, с горящей и затуманенной от себя самой головой. Когда я предчувствую свое неизвестное будущее, когда я знаю: я такая — одна. И все меня могут понять. И я всех понимаю. И горько и сладко, что мне после смогут бросить слова: «Но, ведь, не в 19 же лет Вы это поняли?»

И когда говорят о моих дневниках, не могу же я крикнуть: «Все было. Была большая стопка тетрадок: с 13-ти до 18-ти лет. Я сожгла. А все бы сошли с ума над моими страничками!» Кто поверит? Ах, разве вы знаете, какие были минуты? Может быть, были вчера? Может быть, будут сегодня. Молчите же при мне о женских дневниках, я не могу об этом слушать!

Ведь я иногда похожа на Рафаэля или Достоевского, которые бы перед окончанием своей картины или перед изданием книги — взяли бы и сожгли, и потом вышли бы на улицу, в толпу Флоренции и Петербурга, «доказывай-ка себя!» Когда спор кончился, я вышла к морю, пробежала по камням и песку, и бросилась на песок. Горы были черны. Были звезды. Я посмотрела вверх, вытянувшись на земле всем телом, и, закинув за голову руки, с холодной струей воздуха, ворвавшейся в грудь, поняла:

Я — я. И все. И навсегда. И никто ничего не докажет. И, может быть, — самое смешное! — я сама себя не докажу никому, кроме как тем, у ног которых я буду садиться в тихой беседе: о мире, о жизни и смерти, о себе — о себе и о нем, — кроме как тем, с кем я, наверное, буду снова и снова прощаться, оставив по себе какой-то нерасказуемый туман, тревогу и блеск, и которые, конечно, не смогут меня доказать, «потому, что любили!»

Я не обвиняю себя, когда я бросаюсь в безумную откровенность, когда я прямо ставляя вопрос. Когда я говорю (жадно куря папиросу): «Я вчера весь вечер о Вас думала. Так, не знаю почему».

Я вижу и красоту этого, и нелепость. И правоту свою несомненную – и ошибку. Я знаю, что после таких признаний чаще всего бывает туман и тоска.

И все ж я себя не упрекаю ничуть! Я знаю больше: что надо быть «сфинксом», героиней; коварной, как киса, и неприступной, как лилия. Я все это знаю.

Этого у меня никогда не будет. Никогда.

...«Бросьте, друг! Это найдете вы у других! Это – не мое дело.

А мое дело – это вот что: сидеть в уголке дивана, с улыбкой тонкой и пленительной, и вас ужасно волнующей, и изредка что-нибудь говорить – злое, ласковое и прелестное. В споре распахнуть, словно нехотя – крылья моего ума, странно перед мужчиной обойтись с женщиной: ласково, снисходительно. Начать говорить, замолчать. Шутя, сказать о себе что-нибудь до глубины откровенное. Не замечать вашей любви; и вдруг ее сразу заметить, и ответить вам сразу, ослепить вас тонкостью и умом.

Цените же минуты со мной. Я – воск, я – флюгер, я – парус. Поддамся под движением ваших рук, поверну в ваше веяние, скользну и туда, и сюда, куда захотите. Как лодка поплыву по течению. Как скрипка прозвучу под смычком. Дайте тон! Дайте путь! Дайте ветра!

Я буду всем, если вы захотите. А не поймете, не сумеете захотеть – и останусь ничем!

Вот откуда моя улыбка – и змеиная, и близкая, и далекая. Я ничего не прошу. Я всего прошу. Как хотите.

Во мне – два героя: Веретьев, Базаров. И этим наполнена моя жизнь каждый день. Базаров во мне – трактует о здоровье, о долголетию, заставляет меня каждое утро обливаться холодной водой, жить по часам, учить логику, психологию,

философию, рассчитывать свои занятия на несколько лет, не бояться темноты, топтать, если надо, – крест (чтобы себя успокоить!), делать все, но только на пользу себе. Ни единой, самой маленькой, жертвы.

Веретьев во мне – заставляет меня долго лежать в постели, зевать и скучать на лекциях, закрыть книгу и лечь на диван, ничего не делать, смеяться над составленным планом, который висит на стене. Вздор возводить на пьедестал, и с трибуны низводить ценное, забыть часы, дни, года, все забыть, вплоть до правописания! Он смеется над применением таланта и, шутя, зарывает свой в землю; приносит по первому желанию своему – неисчислимы жертвы, не придавая им, впрочем, решительно никакой цены; из всего мира берет: игру на гитаре, лунный вечер, стакан вина. И, если при нем заговорят о здоровье, он, тихонько насвистывая, сойдет по ступенькам в сад!

Иногда эти два начала мои подают друг другу руки – это дни тоски и колебания, и полной темноты вокруг.

Я стою над учебником логики и говорю себе:

«Тут говорится о смежной науке – психологии. Надо учить и ее».

Раскрыв психологию, я берусь за книжечку физиологии. Дальше, за анатомию. Дальше. Все науки смежны друг с другом – и вот уж меня охватила невыносимая жажда изучать все, все! Может ли доктор знать больше меня! Или психолог! Или политико-эконом! Математик! И вот – точно – по месяцам и годам – я вычисляю, к какому возрасту я достигну того-то и того-то. И сухо, спокойно, радостно узнаю, что в 30 лет я буду знать много. В этом году...

Но вот на дворе заиграла шарманка. Торeadор. Чу!..

Миг. Книжка все там же лежит на столе, но все полетело к чорту!

«Так? К 30-ти годам я буду знать то-то? О, какое великолепиие! И как удивительно: в 10 лет изучить не 8, не 9, а... 12 наук!» В 30 лет!

В 30 лет я буду на 10 лет старше, в 30 лет будет... В 30 лет ничего не будет! В 30 лет будет то, что уже, наверное, у меня в груди разобьется сердце, в 30 лет я буду в полтора раза толще, чем сейчас!

Дневники мои за пять лет сожжены. Они были. Их нет. Утрата огромна. Раз в двадцать больше, чем эта книжка. Пять лет! Ведь на них я «строила» все мое будущее! Я должна бы плакать о них. А между тем... вот я лежу на солнечном берегу, на камешках, у самого моря, волны дробятся, ветер трогает мое платье... 13-18 лет — пропало.

Но лицо то же; руки те же (так же могут писать); губы говорят те же слова или очень похожие. И глаза так же зелены; легкий румянец; мой голос; все есть. И разве я могу плакать о моих дневниках, когда я чувствую, что я — я, и что все неизменно? Вот захочу, сяду за стол и буду писать всю жизнь. О чем же жалеть? А захочу — вот так пролежу на берегу, в саду, на диване, и ничего не скажу!

Ах, пока еще я жива, пока кто-то еще меня может понять...

Каждый, кто слишком пристально взглянул на меня и о чем-то задумался, или смутился вдруг, каждый, кто начинает меня понимать — возвращает мне, возмещает мне вдруг — все мои дневники!

И я не жалею. Я живу каждый миг. И если берут мою руку — это больше, чем слава, больше, чем будущее, это мимолетно и вечно!

Как сейчас засияло солнце, как золотом наполнилась комната через окно; и через цветные платки с зажженными розами льется какой-то свет, какая-то радость, — и по холму, и по винограднику, и по облакам, и над полем — золотистая тишина. Переплеты окон освещены лучом, который исчезнет через десять минут, — какая-то восторженная красота! — я встала и оглянулась:

О, о, мне хочется кинуться в это великолепие, и как-то всем захлебнуться. Но ведь я сама поняла и сказала: «В человеке не должно быть ничего кроме жажды, и мир не должен ее утолять!»

Вот уж бледнеет. Встану и постою, отдам свой восторг воздуху, и знаю, что сейчас тысячи мыслей и чувств овладеют мной, в эту одну минуту, пока я буду стоять и глядеть на цветную шаль и на море. Знаю, что все это скользнет и ужалит, и что этого никогда не вернуть. Встаю. Стены террасы, дверь в комнату, синее Андриюшино одеяло и картина над ним, все освещено тихим сияющим светом. Сегодня был дождь. Чирикает птичка.

В пыльном золоте легко-легко тают горы; девочка-татарка стоит на холме. О, как хорошо, и как я все понимаю, и как многое мне еще суждено понять! И сколько видов из окна и закатов солнца, и сколько террас!

Сверху откуда-то зазвучал рояль: сла-або, – и был миг, он, кажется, сейчас повторится, потому что снова эти звуки, но все же он будет чуть-чуть иной, – солнце село, и по-другому расположены облака; исчерпать миг нельзя; и, конечно, я тем, что скажу, его не исчерпаю; но главное в нем было: *что-то новое*: вдруг стрела в сердце – чувство, что все пройдет. Что жизнь не то, что пройдет, а проходит. Что так же звучала музыка в Weisser Hirsch, и раньше, и позже. Этот день пройдет. Я отсюда уеду. Страшный холод всего.

Было это в 15 лет, в тихие вечера, Sophia играла на скрипке; было в 16 лет, дома, над дневником, или над Леонардо; было в 17 лет, когда я ждала рождения Андрюши. Вот таким был миг, когда Б. и я стояли у окна, прервав чтение «Идиота», в Эсбо, и смотрели на сосну, и дождик, и пробегающие поезда. И снова теперь.

Последнее звено этого мига (я сравниваю этот миг с внезапно открывающейся дверью куда-то вглубь, в вечное) – сегодня было радостью и восторгом, когда я глядела на солнце.

И вот три-четыре такие минутки с 13-ти до 16-ти лет, и совсем понятно, почему мы – Марина и я – молоденькими девочками, были в каком-то ужасе от жизни, *так* ждали Э., *так* любили Н., и знали, что все бесполезно!

Да. Стоит человеку однажды пережить эту минуту, этот прорыв в тьму, и он в глубине своей раз навсегда поймет, что все безнадежно. И что не поможет ни Христос и никто!

Маринина смерть будет самым глубоким, жгучим – слова нет – горем моей жизни.

Больше смерти всех, всех, кого я люблю – и только немного меньше *моей* смерти.

Как я смогу перенести, что ее глаза, руки, волосы, тело, знакомое мне с первого года жизни – будет в земле, я не знаю. Это будет сумасшедшее отчаяние. И от этого – кто спасет меня! Уж лучше бы ей увидеть мою смерть – она бы, может быть, лучше справилась.

Вот то единственное событие во всей жизни, которое разбивает всю меня, все мои свойства, все мои «ах, что я такое», «какая я странная!» Рухнет все в этот час. Полная победа факта над моими свойствами.

Вот когда я смогу ворваться, в безумии, в комнату, забыть все, всех, биться об пол, целовать ее, будить, не пускать ее гроб в землю.

Мой голос (у нас одинаковые голоса, мы говорим вместе стихи, совпадают все нюансы, как будто говорит один человек) жутко покажется мне – половиной расколотого инструмента. Я с ужасом спрошу себя: как же я буду жить? Как если бы мы были сросшиеся, и ее отрезали от меня.

Я не буду странная. Я буду, как все, в этот час.

А ко всем остальным умершим я подойду, вполне сохраняя себя. А в то же время – мы удаляемся друг от друга по дорогам жизни. *Но ее лицо и тело я в землю отпустить не смогу.*

А где-нибудь в Bogliasco, в Рессо сейчас, может быть, синее утро! Вижу: ослик, тележка, овощи, известковая стенка, и вдаль – синий залив моря, которое сейчас как зеркало. И пинья.

Как странно иногда глядишь в жизнь! Вперед или назад – сам не знаешь, было или не было, сон или явь – но что-то видишь такое... такое... всю душу перевернет!

Никто меня никогда не поймет. И я не пойму. Потому, что все течет; поймите глубину этих слов: все, всегда.

И не тем разъединены люди, что они богаты, бедны, злы, добры и пр., – а только парадоксом Гераклита насчет текущей реки.¹⁷

Да. Иногда мне кажется, что я гнусней Смердякова.¹⁸ Какие мысли, какие минуты бывали. И как я рвусь назад от

каждого горя – скорее, в тепло, к себе! Я так раздражаюсь, когда мне надо быть человеком. Я так восхищенно встречаю галоп событий! Какие тайники у меня есть.

И не думайте, что эти слова – раскаяние, что за них мне «простится». Нет! Я не очень поражаюсь тем, что я «хуже всех». Не бьюсь головой об стену. Не повешусь, как Смердяков.

Я никогда не люблю человека больше своей души.

Я люблю: вечность, тьму, тишину, тихое движение времени – и среди всего этого – себя.

И что я могу сделать, если я это – всего сильнее, всего прочнее люблю!

Иногда – чаще всего утром – у меня лицо нежное, точно из воска, желтовато-светлое, ровное, с чуть розовым сиянием на щеках; черты четки, словно вырезаны резцом; глаза ясны, блестящи, зелены, широко раскрыты; линия носа и ноздрей очерчена четко, алые губы оживляют лицо своим цветом, две серые полоски бровей, чистый лоб и темно-русые, чуть выщипанные, с золотом, волосы – рамкой.

И мне тогда хочется себя запечатлеть. Навеки. Сделать картиной. Бросить на полотно и повесить на стену. Чуть-чуть дрожат губы. Взгляд смел, грустен, прост и глубок. И если падает в зеркало отсвет окна, то какой-то серебряный свет освещает меня; краски становятся призрачней. Мне хочется обнять себя и задушить, так я тонка, чиста, картинна в эти минуты.

Что делать со своей красотой?

Пыльное зеркало, словно вуалью покрыв меня, отражает: коричневый жакет с белым жилетом, брошь с гранатами, кружевное жабо; нежное, чуть бледное лицо в непередаваемых красках, полумглу зеленых ласковых глаз, чуть грустную улыбку, алый рот, золотые кольца кудрявых волос. И, утонув в пыли зеркала, солнце бросило на лицо, руки, плечи, легкие сияющие тени. Луч горит в острых гранях камней; вот я медленно улыбнулась – как я прекрасна!..

Мне хочется упасть на колени.

Я — неизвестное количество ртути. В узнавании ее: количества и, соответственно, тяжести, — проходит жизнь.

Ежедневно я делюсь на миллионы искр, дрожащих и легких (вопросы: кто я, где я?).

И — несколько раз в жизни я, по неведомому тяготению, вдруг стекаюсь в себя, вся.

И — восторг:

Тяжесть единой капли — так велика, так стремительна... в 13 раз тяжелее капли воды!

Все те отдельные книги, которые я буду издавать о себе: (эта), мои мысли («Королевские размышления») о России, об атеизме, о философии (задуманные) — не будут хватать за сердце читателей. В каждой из этих книг я — художник, король. Королей не жалеют. Короли — «диктуют законы».

А вот дневник мой, если я когда-нибудь его напечатаю (толстые, однообразного вида тома), — он читающим, с почти физической болью, растерзает душу, до дна. От моего дневника, если над ним посидеть, в тихой комнате, заткнув уши, и читать — схватиться за голову, не зная — как же теперь жить, что же делать!..

Только страшно захочется навсегда закрыть эти книги, на какой-нибудь прочный замок, — буря, рвущаяся из них в постороннюю жизнь — невозможна, потому, что она больше, чем все. Я это знаю. У меня самой туманится голова, когда я внимательно перечитываю одну за другой страницы. Вечера, утра, вечера, утра, дни, разговоры, воспоминания, музыка, комнаты, пейзажи, любовь, философские размышления, неприятности с прислугой, неимение денег, тоска о смерти, пустые беседы, поездки в банк, смех, вздор, приключения, все живет день за днем... И все время эти вопросы: «что будет?», «как я умру?», «чем я буду?». Описания моего лица, движений, манер, смеха, нелепых и чудных поступков, — разве это можно перенести?

Уже не говоря о том, что каждая страница перечеркивает целиком предыдущую, и что *ничего* невозможно понять, — но

самих этих тонких страниц, трепещущих и шумящих, как лес...

Случилось с моей первой книгой, случится и с этой, что их назовут дневником, – но это неверно. *Эти* книги – алмазы. А мой дневник будет брошен в мир глыбой камня, которая, падая, давит!

Ах! Мои книги – легки. Т.е. – они не властны. И после них, при известном желании, можно всегда сохранить ко мне недоверие. «Ну, что, мол, там!...»

Прочтя эти лирические отрывки, можно сказать: «Пишет о любви, а сама еще не любила. Конечно, все это – дым! А вот ты полюби-ка по-настоящему...»

Прочтя мои дневники, – ничего мне не скажешь, но может быть, согласишься со мной, что *все в мире* – дым.

И, узнав обо мне все, год за годом, – диким покажется, что мне всего – столько-то лет... Так, ведь, было со всеми, кто подходил ко мне ближе: сперва – недоверие; но, услышав мою повесть, все умолкали. И скользило с тех пор в голосах обращенных ко мне, какое-то... невольное уважение.

Как некоторые мотивы, длинные переливы песен, мою душу – в итоге всего – мечтательную и спокойную – перенести нельзя!

Сейчас жаркий летний день. Через тысячу лет – так же легко, так же *пáря*, – с неба спадет беспечный июльский день!

«Ах, оставьте меня, не тревожьте меня»,

– мои друзья, люди любящие меня и мои знакомые!

Заранее говорю вам, что вы «безусловно правы». И покончите разговор!

Исправлять меня! О, достойное внимания зрелище! Но не коротки ли руки ваши, не молоды ли вы, не забудьте:

«Все законы, коснувшись меня, как марки без клея, отпадают сами собою!»

Я распущена, так? О, как я была скромна когда-то! Я не хочу стать ответственной за свои поступки? Я предпочитаю все еще быть «Wunderkind»? Ну, говорите еще, я слушаю.

«Надо что-то переделать в себе...» Слушаю. Все? Великолепно.

Я палец о палец никогда не ударю, чтобы «переделать себя».

Нет рамок? Нет чего-то? Нет того, что... О да! Нет очень многого. Нет ничего – кроме моей свободы!

И афоризмы мои пусть звучат – они не менее звучны, чем аккорды рояля. Я всегда буду говорить, что лошади летают и всегда буду права!

Каждый во мне находит что-то «не то», и хочет меня переделать. Но обождите, дружочки, стоит ли?

Оставьте меня жить, как я хочу, поприща найдете много для преобразований!

А что до молодости моей и моих заблуждений – так это вам только так кажется. Я совсем не так молода. Я даже не молода вовсе. Поверите ли?

Х. требует, чтобы я не писала – совсем. Y. – чтобы я писала иначе. Z. – чтобы я целовала иначе. N. – чтобы я стала «серьезней». Я у всех стою на дороге. Я продолжаю беспокоить глаз, как когда-то, когда мне было 13 лет, и я слыла Wunderkind'ом.

Мне исполнилось 20 лет, я говорю невозможные вещи, веду себя вне рамок, объявляю, что я буду изучать философию, а завтра – «философия – вздор»... О, беспокойное и недостойное зрелище! Взять бы меня в руки, и...

Еще раз прошу: отнимите руки. Оставьте меня в стороне!

Я буду издавать, какие я хочу, книги, вести себя, как хочу, сколько хочу курить, целовать кого и как мне угодно, – я не сломаю в себе ни единой косточки, ни за что!

Да и, наконец, что такое? Я, господа, была замужем, любила несколько и много раз в моей жизни, я кое-что испытала, кое-что передумала, до кое-чего дошла... Господа! Ведь это – целая жизнь! И если уж позволите мне сказать словечко, то придется мне вам объяснить, что мне 30 и 40 лет – сердцем, что все – грустно, все – тяжело, что события, накопляясь, давят, что ничто в жизни моей не мираж, все реально, и что прошлое мое, оно всегда стоит рядом со мной, тут, у самого моего сердца!

И что именно отсюда легкие речи мои, когда, смеясь, я говорю: «Ничего не было», или «Ах, это? О, это давно прошло!»

Ничто не прошло. Ничто. Так и знайте. *Как что-нибудь может «пройти?»*

Коротко говоря. Все было. Мне было – 16 лет! Было два года жизни моей с человеком, которого я любила и удерживала около себя, у ног которого я столько раз плакала, и столько раз обещала – не плакать!

И были многие времена! Было время, – когда я пила эфир, и не знала, что со мной делается; потом было время, когда мне казалось, что я очень скоро умру (и я в это время жила одна, заметьте!). Были дни, когда я читала Евангелие – все было! От тоски до веселья! От веры до атеизма! От добра – к «легкомыслию»!

И вы, только от того, что вам на X лет больше, вы беретесь меня «обучать»?

Я помню всех, кого я любила – я их помню в каждый час моей жизни. Я ничего не забыла из того, что было сказано, сделано. *Я столько* ночей не спала до утра!

А что до «распущенности» моей – так (честное слово!) в ней больше «чистоты», несравненно больше, чем в «целомудрии» остальных!

И каждый раз, как меня не целиком принимают, я обращаюсь к чему-то в себе – кристалл! – и снова я – я, и никто мне ничего не докажет.

Каждый идет ко мне, распахивая себя. Я всех, я все принимаю. Я никогда не спорю. Я выношу одновременно и В., и С., и Г., и каждого встречного. Ежедневно я 9/10 моей энергии отдаю людям, т.е. на ветер. Я, как ковер, стелюсь под шагами. Чего же еще?

Вы хотите от меня «чистоты»? «Строгости»? «Слез»? Но, ведь, река не бежит вспять, – и как мне вновь научиться – заплакать?

Неужели же шутки о моем прошлом можно понять иначе, чем кисею над раной? Или мне это — объяснять вам? Не стоит.

Гибнуть. Жить. Конечно, не все ли равно? Но тут вряд ли поймут меня. О, великое слово!

О, легкость! О, пустота! О, веселие! Но вынесу ли я вас?

Как берегут себя люди от счастья, от жизни!

А я — я великолепным цветком цвету среди ваших зарослей; солнце дарит меня светом, небо распростерлось над моей головой; ветер играет атласными лепестками!

Как же не видите вы сего, и хотите спрятать меня в тень ветвей ваших, как же цветку сказать: «Ты еще не цветешь», — ведь он не может поверить, ибо каждый день он глядится в ручей!

Вы хотите уверить меня, что я — зеленый бутон, а у меня голова туманится от моего аромата, стебель клонится от тяжести развернувшихся лепестков и уже счастье становится нестерпимым...

Ручеек отражает блеск и краски мои,
ветер, приблизясь, тихнет — от благоухания,
— я гибну от красоты...

Может быть, через несколько дней я сама уроню свои лепестки в ручеек, чтобы скорей он унес их с собой

— оттого, что тяжело!

— тогда вы взглянете на меня и проговорите: «О, да этот бутон и вовсе не цвел!»

Ручеек, ты им скажешь?

Я не ломаю свою жизнь. Она сама ломается, и недавно — сильно переломилась.

Я слежу за собой, мне легко. Мне порою еще не душно от свободы.

Но, ведь, когда-то я была другой, гораздо моложе, суеверна, молилась Богу, и любила Дон-Кихота — больше Базарова. Да. И тогда я любила прошлое больше будущего.

Теперь я люблю только будущее. И возвращаюсь назад я только в минуты жгучие, и внезапные – но они проходят, как ветер.

Она говорила о том, что невозможно так жить, как я живу. Я слушала, и возражала не горячо. Хотела бы я знать, что это – рок мой, чтобы меня все осуждали, или я и вправду живу не так? Т.е. я согласна, что я живу не так, но о чем говорить?

Я живу в пустоте. Я слышу полет планет. Божественной музыки я не слышу. Я права, я права, говоря, что «я имею причины так жить». Ибо вот один только ясный, как капля воды, вопрос: «Скажите мне, для чего – это делать?» Мне ответят: «Для того-то». Я скажу: «Но я не хочу этого». «Так для этого» – «Я и этого не хочу». «Так для этого» – «Но я...» – «Так хоть для достоинства своего, для того, чтобы сметь чисто себе глядеть в глаза, себе самой. *Чтобы, действительно стоять на вершине, которую Вы так воспеваете.*»

На это я отвечаю:

«Что такое – достоинство? И так ли уж нужно (для чего) чисто себе смотреть в глаза? Вершина? Да, я ее очень воспела, можно и перестать. Последние вещи (достоинство, вершина и пр.) так же вздорны, как и начальные.»

И вот отчего я не живу, как другие, ничего не ищу, не имею ни рамок, ни приговоров, но всегда только одно восторженное или усталое (смотря по настроению), адвокатство.

Да, я знаю. Мне 20 лет. Я дочь известного деятеля, профессора и ученого, я «из хорошей семьи». Больно и дико смотреть, как я провожу дни и ночи с незнакомыми мне людьми, которые, быть может, не знают, кто я, и принимают мое поведение... Одна версия. А другая:

Земля летит, пустота, орбита и солнце, и я – марионетка среди марионеток... И, пожалуй, даже весело, что я марионетка «из хорошей семьи»!

Вот так. Все видят первую версию, я вижу вторую. Я – я. Вот мой единственный и краткий ответ. Законы? Но, может

быть, я из законов емь исключение, а, может быть, и законов нет!

Я кружусь и лечу, и это зрелище невозможно? Но, ведь, и земля вертится и летит!

Семь часов утра, полужнакомые люди... Да, да.

Я принимаю от «чужого» мужчины конфеты, цветы, билеты в театр?

«Мой друг, Вы поймете позднее, что это совсем невозможно»!

Я ничего не пойму поздней. То, что можно понять, я и сейчас понимаю: для жизни это невозможно. Так. И если друзья мои окажутся на миллиметр менее умны, чем я думаю, я окажусь в двусмысленном положении, от которого я заплачу при всем блеске моего ума!

Но, ведь заплакав, я тотчас же перестану, «подойду к окну и откину штору – старый, эффектный жест»!

И смутное жизненное настроение, навеянное ею, – как лучем, пронзается моими словами:

«Я – чудо. Чудо можно назвать обманом, но можно назвать и истиной. Можно поцеловать след от шагов моих. Но можно сказать, что девочка сбилась с пути».

Предоставляю каждому говорить, что он хочет.

Только я – знаю себя.

Только я знаю, как все было, и как все прошло.

Только я помню...

И еще: никто не подвержен законам. Каждый мой встречный – чудо. Люди не чисты и не грязны. Люди – это число X чудес. *Я ничего не знаю, никто не знает. До сегодня не было этого, завтра – будет.* «Я презираю опыт, набравшийся по ничтожным каплям в ничтожную чашу»^{*}.

И – никаких отчетов. Никаких объяснений.

Я буду жить, как хочу:

До утра проводить ночь с человеком мне неизвестным, принимать от него конфеты и цветы.

Забывать, из какой я семьи. Говорить без усталости, обо всем, не теряя минуты.

Верить всем!

* «Королевские размышления» (прим. авт.).

Но только одно: одиночество мое, одиночество. Так идет с 12-ти лет, восемь лет.

Господь послал мне «курс жизни» «по Достоевскому». Что ж, честь и хвала Господу.

Да. Каждый мой год – это том Достоевского. Но, ведь, он в общей сложности написал 5–6 хороших томов. А я уже живу 20 лет на земле, и обо мне, обладая терпением, можно бы написать 14–15 томов, начиная с рассказов, как «Неточка Незванова», и кончая историями, как «Бесы». Читать было бы трудно, утомительно, долго, но, ведь, я час за часом эти 15 томов прожила.

365 дней помножьте на 20, + несколько лишних дней високосного года. Кто-нибудь из математиков сделает это за меня.

Господа. Внимательно взгляните на эту цифру, и – махните рукой!

Да, молода, да, что говорить, да, задатки... Да – жаль.

«Сию страничку жизни пресловутой моей – я посвящаю Вам, Маврикий Александрович, друг мой, спаситель, и защитник от людских нареканий, дабы могли Вы, проникшись ею, лучше знать непонятное сердце мое, которое кладу в дне сем в Ваши руки – дабы благостно ко мне отнеслись и оценили веселие – поступки смешные и недостойные, гордостью зело переполненные».

(Из моего дневника.)

«Когда я сидела на берегу, подошел М. и сообщил, что надо уезжать, так как вокруг началась холера. Я согласилась тотчас же, хотя не испытывала никакого страха. Мне сразу стало весело от какой-то перспективы отъезда, быстроты,

новизны, мне всегда в таких случаях кажется, что я перехитрю жизнь, скукой зело переполненную.

«Но куда ехать? решали мы; стали говорить об окрестностях Москвы, где бы можно провести последний летний месяц. Подошли А. и Л., стали решать, ехать ли и куда. Они были спокойны, говорили, что отдельные случаи еще не есть эпидемия, что надо узнать, подождать, что у нас мало денег, чтобы срываться с места. Они были правы, я это сознавала. Но М., бывший в возбужденном состоянии, настаивал на том, чтобы ехать тотчас же, к вечеру или завтра утром, в Москву, за Москву, в Финляндию. Его брат А. тоже соглашался уехать, хотя приехал только на днях, и ему было жаль расставаться с морем. Они стали мне предлагать ехать в Финляндию, в изумительной красоты местности. Л. не хотела спешить, к тому же ее удерживало несколько дел.

«Мне было — «решительно все равно» — т.е. с самого того мига, как М. сказал, что надо ехать и — «едемте», — я почувствовала в себе целое море галантности, веселия и подъема, в котором я смело бралась утопить последствия сего необдуманного поступка.

«Ехать так ехать! Холеры я не боялась за себя совершенно, и за Андриюшу — мало, но самым милым мне представлялось пожить тут еще несколько дней («в это время все можно узнать, точно»), гулять, пойти на Карадаг, поездить на лодке (на веслах), и затем, вчетвером двинуться куда-нибудь.

«В Финляндию? Что ж, можно и туда, только немножко далеко от города, где М.А., — но как было бы весело: иностранные говор и деньги, вспомнится Гельсингфорс... Я сидела на перилах, болтая ногами, в шароварах, с тюрбаном на голове, соглашаясь на все, ободряя М. и шутя над ним, защищая его от нападок брата и Л., стыдивших его за трусость.

«Все равно, — отвечал он, — я здесь не смогу прожить этих дней, — это будет пытка, да нет, я просто не вынесу!»

«Брат пожимал плечами. Л. говорила, что если бы у нее был такой сын или муж, она сошла бы с ума.

«Да оставьте его, господа, — повторяла я, миролюбиво, — это очень понятно: М. уж видел однажды холерную эпидемию, и у него тяжелые воспоминания. Я понимаю. И к чему рисковать? Холера — болезнь смертельная.»

«Роскоши этих слов в моих устах не понял бы, пожалуй, никто, кроме М.А. и Г., людей, меня знающих, мое право

бояться смерти, и – через scarlatину – неожиданный поворот к легкомыслию, к «ah, qu'impropte»... Я же, сознавая элегантность своего поведения, не чувствуя, к тому же, перед холерой никакого страха, ощутила счастье, и голос мой стал еще веселей и нежней, и я еще горячее стала защищать М.

«Он же был в состоянии, совсем не схожем с моим, подавленным, тревожным и требовательным, у него все время падал голос и он не обращал на нас никакого внимания. Он хотел ехать во что бы то ни стало и, если мы не поедем, поедет один.

«Л. уговаривает меня подождать – поедем вместе, а он пусть едет один. М. на миг становится милым, и одна его улыбка, такая эгоистическая, но нежная (из-за изгибов губ!) и глаза, милые, карие, и гордый подъем головы, и голос – убедительней слов, еще больше веселья во моих ответах!

«Но как зыбок наш разговор! Каждый миг он может повернуться так, что все решат ехать отдельно. У меня стучит сердце. Конечно, в общем – мне все равно... Только все же жаль: так, милое событие жизни, быстрой и преходящей. Как люди мелки, как холодны! И к чему мы сейчас говорим, если так легко каждому ехать – «куда ему надо!».

«Но боюсь, что неверно поймут меня. Люблю ли я его? Нет, конечно, нет. Но я им очарована, хотя хорошо вижу все смешные и недостойные черты! И пусть не примут мое поведение за «покорность любимому человеку». Это была просто галантность и – восхищение ею, от чего она росла все больше и больше, казалось – до беспредельных размеров.

«Да, я должен сказать, что вы все для меня не существуете теперь, а станете существовать с того мига, как мы уедем отсюда», – сказал он.

Это было *le comble du bonheur!*!

«Мне было ужасно смешно и ужасно весело. Улыбаясь, он звал меня ехать, предложил разделить на две партии: я и он, Л. и брат. Л. возмущалась:

«Вы будете исполнять чьи-то капризы?»

«Ничего, – мягко ответила я, – это можно – раз в жизни! Господа, жаль же его пустить одного – смотрите, какой он грустный. Бедненький! Ну не печальтесь. Решайте и едем. Завтра так завтра! А теперь идемте пить вино, на прощание!»

* Верхом счастья (франц.).

«Я соскочила с перил, не щадя аппендицит. Мы пошли в кофейню. Как весело, как прекрасно было у меня на душе! Я вспоминала все отъезды моей жизни – но ни тени не мелькнуло по мне от жгучего чувства, что столькое позади, и что никто об этом не думает – «dunkle Cypressen!.. Die Welt ist gar zu lustig... es wird doch Alles vergessen!..»*

«О жизнь! Очаровательная случайность!

«Господа, господа, господа, господа, позвольте же вам повторить мою глупую поговорку, что через х лет – ведь, всюду: оспа, скарлатина, холера – мы, наверное, будем в земле!

«Мы сидим за мраморным столиком, мы решили ехать в Москву, а там уж увидим, куда; я сообщу М.А., что мне надо ехать, мы поедem в Тарусу, и если М. там понравится, поселимся там. Ах, Ока! Там чудно. Там лес. Купанье. Я там провела все детство. Едем? Пьем вино, красное. Шумит море. Мы его называем «шипящей дурой», от которой хотим уехать к тихим озерам и рекам, воде, которая «умеет молчать». Плющ и цветы, обвившие столбики, качаются в ветерке. Жара ослепительная. Какая-то компания, за соседним столом, смотрит на нас.

Сижу, нога на ногу, в шароварах, ярко блещет синева моего атласного тюрбана, и горят аметисты броши, – когда-то они были в галстукe Б-ва... Он любил их... он в земле...

Разговор. Я, чуть сощуриw глаза, смотрю вдаль, на море, на изгиб гор, думаю: «Вот этот миг – счастье. Полное. Кто поймет!»

«Затем (чуть шумит от вина в голове, и ноги тонут в песке), идем узнать точно насчет холеры. Да, 30 случаев, из них 16 смерти, это начинается эпидемия.

«Обедать идем все вместе (мне обычно носят домой, ну, сегодня – последний день!), входим, я заказываю М. кашу и яйца (он больше ничего не хочет, он слаб и взволнован). Прохожу спокойно взад и вперед, меж столиков, говорю громко. Все время идет разговор об ужасном характере М. Он мне улыбается. Едем.

* Темные кипарисы!.. Мир слишком весел... ведь все забудется!.. (нем.).

«Л. сидит за соседним столом с Г-ми. Они говорят, что все это наши фантазии, что опасности нет, и тон их речи полон жалостью к нам. Но жалость моя к ним – еще больше. За обедом происходит еще инцидент. Я предлагаю всем идти в горы, организую прогулку. Но вдруг М. говорит, что он слаб и в горы идти не может, – только куда-нибудь совсем близко; да нет, никуда не пойдет. Я тотчас же предлагаю ему поездку на лодке. Брат его возмущен, его раздражает происходящее. Я катаю хлебные шарики, смотрю в окно, где качаются розы, улыбаюсь личику моего странного protégé, которое высоко поднято над столом, над нами, над миром, – в смешном и картинном любованье собой.

«Но когда мы идем по саду, и он декламирует, вдруг мне кажется, – и впрямь, он на голову выше этих густых тополей и маслин, – мягко падают глубокие и вычурные интонации, и глаза, покрытые веками, чуть мерцают.

«О, спутник вечного романа,
Аббат Флобера и Золя,
От зноя рыжая сутана
И шляпы круглые поля.
Он все еще проходит мимо,
В тумане полдня, вдоль межи...»¹⁹

«Шуршит гравий.

«Уговорясь с Кафаром о лодке, мы решили ехать на парусах (я четыре года не ездила, дала слово не ездить, смертельно боюсь воды, ну...). Я подходила, переодевшись, к балкону обоих братьев, когда появились идущие в горы – они зашли за мной (я же их и звала). Я сказала, что не пойду, так как М. устал. Иронические улыбки. Но что – я! Как хорош был он, когда на их вопрос, выраженный в форме приличной насмешки, ответил: «Я слаб и идти не могу». Он стоял, подняв голову, как всегда, с полузакрытыми веками, глядя на них холодно и спокойно. Чуть мерцали глаза из-под век. Я стояла и любовалась.

«Переглянувшись, посмеиваясь, поклонясь нам, однако, корректно, ушли. Мы остались втроем. Было чуть неловко,

чуть скучно. М. рассказывал о своем друге, изнеженном юноше. Пили чай.

«Ехали долго. В Сердоликовой бухте²⁰ я бродила с ним по камням, он говорил о своем друге, композиторе. Я была в этой бухте четыре года назад. Я смотрела на серые полосы моря и на бархатные очертания гор, далеко, золотых от заката, как на декорации. Ветра не было, и дорогу назад мы сделали веслами. Баркас был тяжел. Мы постелили на дно плед и легли рядом, я – чуть касаясь плечами их плеч, глядя на звезды, появлявшиеся по одной, затем сразу, в бездонном, бездонном небе.

«Я просила сказать стихи. Он говорил охотно, но равнодушно, не веря моему пониманию, и деликатно молчал об этом. И в этом, новом для меня, положении, что меня считают простым человеком, а кого-то рядом – сложным, я чувствовала себя как в полусне, как в далеком детстве. Если бы мне в эту минуту вспомнился В. – как я бы завеселилась от этих двух крайних обо мне мнений! Но было что-то сладкое в том, что я позволяю другому быть причудливым и не говорю о себе, и не думаю. Словно кто-то дал мне волшебного зелья, от которого я забыла, *кто* я.

«И было стройно – слушать о Петрограде, которого я не знаю, который чужд мне, как ледовитый полюс...

«...Летают валькирии, поют смычки,
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ».²¹

«Волны, тронутые багрянцем – еще недавно, – померкли.
Брезжился берег.

«...В темной арке, как пловцы,
Исчезают пешеходы,
И на площади, как воды,
Глухо плещутся торцы...
Только там, где твердь светла,
Черно желтый лоскут злится,

«М. лежал, в сероватом пальто, скрестив на груди руки, закрыв глаза — был страшно похож на Пушкина; пышные короткие бачки, бритое, худое лицо, очаровательная улыбка, слабость всего тела и рук, отвращение к могущей потопить воде, и — через весь холод — какая-то детская ласковость, и в холодном голосе мягкие интонации — вот что заставляло меня меньше смотреть на лицо А., во многом бывшего ко мне внимательнее его. Прекрасные глаза у А. — длинные, серо-зеленые, мягкие, близорукие, добрые. И брови, черные, как кистью проведены. Ехали тихо. Устали и ждали берега — т.е. устали они, я — немного. Но день кончался трезво, и я вдруг почувствовала, что мне уже много лет.

«Когда подъезжали, зашел разговор о том, где ужинать. Я знала, что день кончен, и не могла не почувствовать сладости, когда услышала, что они идут ужинать с Т., которых я не люблю. Я сказала, что буду ужинать с Л. Мне было глубоко наплевать на еду; я жила в эти минуты тончайшими чувствами презрения и жалости к ним — и глубоким собственным счастьем. Мы шли домой, а я думала о том, как все скучно, о том, что же это за странная вещь, моя жизнь, в которой я готова сорваться со всякой почвы ради вздора, фантазии, одной фразы, — а фразы суть фразы, вздор — вздор, и упадки вечно тут, со всей густотой своей тени!

«Однако, у дома М. сказал, что ему не хочется идти кушать одну кашу, а другого нельзя; я тотчас же предложила сварить ему кашу дома, он согласился. Я пошла домой, но не оказалось молока; не говоря ничего, прячась, через сад, забыв об усталости, я быстро пошла в кофейню.

«Мягко падал песок под ногами, я бежала. Были звезды.

«Я бежала обратно, счастливая, гордая, совершенно счастливая, точно опьяненная своим собственным сердцем, смешным до крайности!

«Ужинали. Пришли Г-ны, принесли вина, я достала остаток *chateaufort*, пила. Говорили вздор, было весело. Я пила много; мешала вина; уже было поздно. В комнате был беспорядок. Яркая шаль Л. в цветах; в широком окне встающий Юпитер и от него, как от луны, в море серебряный блеск. Черный

квадрат неба с пятнами звезд; прибой, лицо одного из пришедших, похожего чем-то на Б., легкий шум в голове, дым папирос...

«Шутя, я стала говорить тем витиеватым слогом, которым любит говорить Б., и в котором заигрывается до пределов. Катаясь по рельсам своего красноречия, подстрекаемая общемою мыслью, что я «уже», я заигралась тоже.

«Витиеватость слога, разрастаясь в пышный цвет, позволяла говорить вещи почти серьезные, хотя вряд ли кто слушал их. Имя Б. мелькало тут, непонятное.

«Гости ушли. Мы собрались гулять. Была ночь. В небе, черном, высоко стоял Юпитер, и отблеск его в море потух.

«Выбегая с балкона, я спросила А., который час. Он вынул часы, уронил и разбил стекло. Я первая подняла часы, но передвинула нечаянно стрелку, и сразу вместо полуночи стало половина второго. Смеясь и продолжая свою витиеватую речь, охваченная пафосом сего события, я легла с Алладином (сеттер) на песок, говоря о том, как чудно сейчас случилась «ошибочка с временем».

«Движения мои, голос, вся я — были точно чужие, и восторг лился через меня, что именно *сейчас* я на вершине дня сего, в этом хаосе льющихся чуть ли не церковного слога речей, — когда все начинали смотреть на меня с улыбкой.

«Мы шли в кофейню. Всю дорогу я со свистом убегала вперед, окруженная собаками, падала с ними на землю, и целовала их, и неслась дальше. Первая пришла я в кофейню. Там уже было заперто и темно.

«Я помню движение, которым я прижалась, щекой и ладонями, к мрамору столика, мутно белевшего в темной ночи. Всклотившие по ступенькам застали меня сидящей, подняв к небу голову, верней, опрокинув ее, с лорнетом, глядящей на звезды.

«Мы шли назад. Иногда, в смутном чувстве какой-то тоски при взгляде на улыбку кого-то из них, и на их мирное со мной обращение, я вдруг делалась разумной, шла тихо, говорила вещи совсем простые, показывая, что я все время шучу, а сейчас серьезна; но через минуту уже что-то переполняло меня, и я мчалась вперед, падая в темноте через Алладина, насвистывая мотив, в страшном счастье от:

ночи,
себя,
неба!

«Мне в этот час не был нужен – уже никто из них! Protégé мог ехать один, и куда угодно...»

«Я бы – осталась – лежать – на крымской – холерной – земле, ночной; протянув по иссохшим травкам – чуть усталые руки; целуя землю, Алладина, и, может быть, след ваших ног, поэт, –

но ведь не все ли равно, правда?!..»

«Прощаясь, хватились спичек, и пошли за ними ко мне. С отъездом М. решил подождать несколько дней – он был утомлен поездкой.

«Вынеся им спички, более чем разумно, как хозяйка почти, и заботливая, – пробегая по тому месту, где несколько часов назад я смотрела за кашей, я, вдруг, передав им коробку, сказала:

«Не буду прощаться на грядущую ночь ни с кем из вас, о друзья мои, ибо чрезмерно мало и просто поняли вы мое состояние мое...»

«И, не подав никому руки, вбежала балконом к себе, и закрыла дверь. Затем, в темноте, я прошла к шкафу, и допила полбутылки вина, из горлышка. И легла.

«Ну, что же, Вы протрезвились, Ася?» – смеется, входя ко мне, Л.

«Вполне!» – отвечаю я.

«Господа, простите вчерашний мой день – я выпила много вина, больше, чем следовало. Но согласитесь с тем, что не очень я была беспокойна. Я только говорила слогом несколько пышным и витиеватым, несколько непонятным для вас!

«С маленькой ручкой Андрюши в руке, я иду по саду. Палит солнце. Блещет красный тюрбан ярким шелком.

«...О спутник вечного романа,
Аббат Флобера и Золя
От зноя рыжая сутана,
И шляпы круглые поля...»

«Шуршит гравий. Сейчас встречу вас. Я прошу – как бы себя я ни повела – надменно, иронически или ласково, много ли бы или мало смеялась, я и сама не знаю, как будет, – не давайте себе труда разбирать мое витиеватое поведение – оно будет непонятным для вас.

«Мама, пустите меня, я хоцу вон туда!»

«Деточка, туда нельзя. Там бяка. Дай ручку. Будь паинькой».

«Думайте обо мне, что хотите!»

«Я бы хотела сказать еще два слова о том, что вы никто передо мной не виноваты:

ни вы, поэт, в вашей чуть заметно реющей нежности сегодняшнего обращения со мной; ни вы, брат поэта, в той улыбке, которую вы удержали, ни Л., молоденькая, в простоте души улыбававшаяся,

потому,

что, во-первых, все это так; как должно. Каждый из вас проступил правильно. Правильно поступила и я, выходя с Андрюшей, в шароварах, тюрбане, веселая и простая, усмирив в себе усталость и желчь, было поднявшиеся при виде удержанных ваших улыбок. И обедать я не пошла – все правильно.

Во-вторых, – если б только знал кто-нибудь, что каждый *faux pas*^{*} мой – есть шаг по дороге к раю,

– вы бы сегодня – никто! – не жалели меня!

«Рай! Его нет, и он никогда не возникнет,

– и дорога идет в пустоту –

– но что же тогда те часы моего золотого и пышного одиночества, когда, как сейчас, я бесконечно уважаю себя, когда я мила с вами, когда я тушу в себе холод – струями растущий во мне.

«Столь великий,

что легко, с моего согласия – мог бы вызвать – второй потоп!»

Вы жмете ручки мои, мой друг, мой защитник, и я улыбаюсь Вам нежно, с чуть реющим холодком, – ибо сегодня

* Промах (франц.).

устала я – и мне хочется быть одной, – и голова еще чуть тяжела – от вчерашнего!»

Сидя на террасе, смотрела в сад, на серебрящееся море, и думала о том, что все же – опыт жизни есть во мне. Или какая-то грусть. Что-то, – что порой заставляет меня не говорить, слушать молча. Вот так перевеситься через перила, смотреть в сад, сощурилась, на трепет листвы.

И мне кажется, что в смутные часы несущихся и тающих воспоминаний – уже обозначается вокруг моих губ – складка. Что-то терпкое и одновременно нежное в углах рта.

Поезд едет. Я сижу в wagon restaurant, солнечный теплый вечер, качаются и бегут тени, переходя со стены на стену; я буду пить шоколад. Я прошла через много вагонов III, II, I класса, и в 10 минут успела вдохнуть в себя массу миров, лиц, сцен, запахов.

Я сижу у окна. Солнце, бросив луч, зажгло на моем vis à vis – кольцо с бриллиантом, и он горит, как капля росы, ослепительными цветами – в то время как солнце не томительно, но горячо – заливает мою щеку, рот, волосы.

Напротив, наискосок, в узком стекле, затененном с той стороны чем-то синим, я вижу очертания моих плеч, черное пальто, маленькую белую шляпу, нежность лица и теней на нем, неуловимо опьяняющий жест руки, прикоснувшейся к подбородку, тонкое наклонение головы, еле дрогнувший рот – улыбкой.

А слева, порой, когда пробегает поезд, на фоне его темных вагонов, в стекле, повторяется маленькая блестящая комнатка уютного wagon restaurant. Прошло двое военных, которые уже давно взглядывают на меня.

Удивительно потонул в тени лес, но вот он кончился, и брызнуло солнце, и я сижу, прислонясь подбородком к оконной раме, щурюсь, улыбаюсь, дышу!..

Ах, если подойдете ко мне молодой офицер, или другой незнакомец, подумав, что я рождена для насмешливости, или что я рождена для любви, – вы ошибетесь, пожалуй, – ибо моя красота – это дым, и я ничего не хочу кроме: быть одной; бегут поля; стакан шоколада.

«ДЫМ, ДЫМ И ДЫМ...»

Почему я так откровенна? Так нежна?

Не дикое ли я произвожу впечатление?

Я неприятна, резка, эффектна, аффектирована, голова моя слишком высоко поднята, и слова слишком высоко парят.

Что я такое?

Слышу ответ: истеричка. Новый тип женщины. Женщина, хотящая свободы (ах, уверяю вас, я *решительно ничего не «хочу!»*).

И не судите меня вашими жизненными словами. Ведь я не «такая-то», не женщина, не реальность, проще: *меня просто нет*. Так, совсем нет, нигде!

Не стройте на мне, доброжелатели, прочных зданий для будущего, не стройте даже и замков – я бы очень хотела, облегчая всем вам задачу, – просто не быть реальностью ни для кого из вас!

Пусть я буду призраком. Вашей галлюцинацией.

Пусть я буду абстрактным явлением, полной абстракцией – ничего не говорю против.

К чему людей заставлять верить в невероятное?

Зачем настаивать на том, что я есмь?

Не все ли мне равно, есмь я или не есмь?

Я – сон, я – галлюцинация!

Так, чья-то гениальная голова, в бреду – меня выдумала. В хаосе мыслей и чувств, в блеске, от которых мне больно, я явилась. Откуда? Зачем?

Два вопроса, интересующих меня сильно!

Только чувствую, что мир давит меня, гонит, топчет, уничтожает меня, *отрицает*, и я – любезная от природы, и вполне сочувствуя миру, подтверждая, что, действительно, меня быть не может, становлюсь все легче, легче, таю, как дым, и уже голос мой – не голос, а музыка!

Господа, те, кто хотите любить меня, не обвиняйте меня, я ведь не виновата – и я не умею любить так, как надо. Вдумайтесь: *меня нет, я – ваш сон, а, ведь, сны бывают нелепые!*

Я когда-то была. И, может быть, еще очень недавно. Но уж с той поры, как под стеклами ваших витрин появляются мои книжечки – я перестала быть реальностью.

«Такой женщины быть не может».

Меня нет.

Мир спокоен. Женщины такой не будет никогда. Соглашаюсь. Удивительно только то, что мне все еще хочется говорить. А, впрочем, призракам это даже идет. Знаете, так, в глубокой ночи, замогильным голосом. Вот только голос мой несколько нежен... Итак, я могу говорить:

Прежде всего я хочу обратиться к моим друзьям с маленькой убедительной речью (вот и выгода того, что я — призрак. Призракам верят. Осмелюсь же я говорить, будучи живым человеком!):

«Боже, если Ты где-нибудь есть, если я создаю Тебя моей мыслью, обрети во мгновение, на мгновение, свои атрибуты, и выслушай меня так, как Бог слушает человека.

«Ты, даровавший мне жизнь, и мою смятенную душу, помоги мне возвысить мой голос, чтобы сказать, что не для всех любовь — одно. Что я совсем — другая, что я сохраняю *всю свою* душу при любви.

Что такое любовь? Это спрашиваю я, когда ранняя грусть падает тенью от катастроф моей жизни!

«Мне ли,

любимой с первых дней юности, возражать... Мне ли, носящей на груди и целующей крест одного, надменно бросающей мир с его «Дымом» в руки другого друга — но я говорю:

когда я одна в своей комнате, то нет никакой любви. Ибо сердце еще я могу вырвать и бросить к ногам любимого, душу же — как мне отдать? Подобная ветру, она легко подымется из меня, и где искать ему ее веяния?

«В музыке, в сочетании рифм, в вечных вещах.

«Я бы хотела вот в этот час — отдать свою душу многим. Двум. Одному, — наконец — но для этого я должна бы у всех дерев отнять их листву, и синеву у небес, и ритм у стихов, и красоту у всех женщин — ибо моя душа — там!

«И скорбно я никну к коленям любимого, бессильная сплотить свою душу, — и в этот миг всего горячее биение сердца — ибо его, да, его я могу отдать.

«Ах! Не тем безнадежна любовь, что у нас сердца вероломны, а лишь тем, что душа больше нас, и что мы не властны над нею.

Где душа? Что такое душа?

«Радость. Грусть. Самый тонкий слух и зрение дальше земных горизонтов. Иными словами, — так, дым. И вот этим-то дымом мы и любим друг друга. Скажите теперь: есть ли надежда в любви?

«О, сколь часто хотелось мне из тончайших чувств, из перистых — облаков сделать тучи.

«Я слишком мало верю своей «безнадежности», слишком часто живу в надеждах!..

«Но «безнадежность», должно быть, вправду серьезна. Потому, что если я одна в комнате — то нет любви».

Как в такое утро, под музыку Глинки, которая тает, тает,
я, с пером в руке или бросив перо, положив на глаза холодные
мои ладони,

как я люблю вас всех,
как глубоко, как верно, как сладко, как самоотверженно,
я бы хотела сказать, — если вы не будете улыбаться,

как я, с каждым из вас,
звезды моего черного неба, хотела бы умереть, растаять в
ночи,

— о друзья мои, которые, как и я, будете под землю...
как рассказать вам тот ужас нежности, который обурекает
мною

— при ваших именах и звонках и ваших визитных
карточках!

И как вас соединить в какое-то целое, в котором я могла
бы растаять, которое я могла бы обнять, и как пережить

— тоску раздробления этой своей мечты, жажду быть с
Вами вдвоем, биться в звуках Вашего голоса, видеть Ваше
лицо, любоваться Вашими жестами, как уверить Вас, Г., вас
Л., вас С.И.,

что я каждого из вас люблю, и как мне объяснить каждому
из вас, что я люблю — другого?

Как мне сказать, что я каждого из вас позабуду в страшный
час моей смерти

— не из-за недостатка любви,
а по цифре градусов открывшейся черной бездны, как мне
сказать...

ах все, все, все бесполезно! Ибо пламя равно льду и нет
измерений,

и никто не поверит моей любви, ибо завтра услышит, что
я не пойду за ним на войну,

— и что все равноценно,
— ибо вы иронические в своей нежности, и как мне
перенести, —

что никто из вас до конца меня не поймет,
и что в блеске ссор, самолюбий и недоговоренных
признаний все мы ляжем в могилы, забыв друг о друге,
и станет темно кругом нас!

Но мы живы. Мы молоды. Мы пленительны. И уже звучит
вальс.

И уже горят диадемы огней, и уж дирижер тихо водит
рукой над сонмом танцующих звуков,

– ах, ах,
кто из вас, забыв все, и себя и меня,
и градусы ждущей бездны,
обхватив меня затрепетавшей рукой, которая мне чужда,
как и доньне, которая никогда не прикоснется ко мне,
кто из вас бросит все в этот сегодняшний вечер, и по
золотым квадратам паркета, под тысячами огней,
скользнет со мной в бесконечность, со мной,
кто из вас по первому звуку марша полетит со мной на
коне,
кто из вас
в душный вечер,
когда кругом – тьма, а впереди – безысходность,
кто из вас
возьмет руки мои для последнего поцелуя, без единого
слова вражды,
кто из вас
погладит по головке змею моего ума, не боясь ее яда, зная
противоядие,
кто из вас...
Кто из вас самый безумный, я бы хотела знать,
кто, как я, бешено хочет каждый час своей жизни,
кто, как я,
падает на диван, на ковер, в объятия рядом стоящего
– в первый же музыкальный такт!

Вы, М.А., кажется, хорошо танцевали в дни вашей юности.
– Я люблю хороших танцоров.
Вальс звучит.
Диадемы горят.
Я кладу Вам на плечо – мою руку».

Правда, ужасно бесплотно? «Чорт возьми, что за женщина!
Только в вальсе позволяет себя обнимать!» *Никогда не
прикоснетесь ко мне!* «Что такое? Или уже нет никого, среди
нас...»

Никого, господа! Ибо вы забыли, я – призрак! А, ведь,
вы – плоть и кровь.

Господа. Я была живой! Очень недавно! Вы же не захотели,
чтобы я была. Я высоко подняла голову, улыбнулась вам, и
меня не стало. И вы же меня упрекаете!

Ах, ах, ах, как я бы умела любить! Что это, ваши женщины!
Да поздно – нет плоти, нет крови, а я... Но я еще так была
молода, еще многие меня называли ребенком, когда приговор
ваш прозвучал, и меня выкинули за борт корабля, который

вы именуете жизнью. А я бы... Ах, господи! Как я была умна, как изысканна! Как пламенна сердцем! Я была такую прелестной, я так тянула к вам руки, — где же вы были тогда? Я бы не отходила от вас. Я бы слушала ваши речи. Я бы таяла в ваших ласках. Ах, как я бы ласкала вас...

Ну, видите, я совсем вас расстроила! Глаза у вас загорелись, и вы уже готовы простить мне «Королевские размышления», и возратить мне право на жизнь — нет, дружочки! Мне понравились мои привилегии призрака, и я не вернусь назад. И потом мне, Бог знает почему — не нравится, как *вы* любите. Нет! То ли вот дело, как мы, призраки, любим, нежно, тихо, еле касаясь, сладость такая в теле, — pardon, тела нет, я забыла,

— ах, ах,

где-то музыка звенит, музыка, музыка — как мы, призраки, любим музыку, как любим солнце, как любим землю!

И как хорошо: слова льются с уст, обо всем, и такие странные...

Призраки — дым, сон, больного галлюцинация...

Бред!

Есть хорошая книжечка. Называется она «Дым». Ее написал Тургенев.

Там хороша героиня. Но не критикой я занимаюсь сейчас. Помнится, эта книжка кончается так: после длинного бреда, после многих призраков и несчастий, герой находит, наконец, счастье непризрачное — плоть и кровь.

И вот, сидя в вагоне, он смотрит на струйки дыма, которые вьются за поездом и вдруг — все его мучения ему представляются — *дымом*.

И та прелестная героиня, которую он так страстно любил, тает в его душе — *призраком*.

Он стоит, еще молодой, рядом с девушкой Таней и, точно освобождаясь от колдовства, повторяет: «*Дым, дым и дым...*»

Господи. Живой я человек, или я призрак — не знаю. Это иногда меня мучает. Но тут не об этом. Вот пламенное желанье мое: *каждый после любви ко мне — ищите себе свою Таню, а обо мне раз навсегда повторите: «Дым, дым и дым...»*

Величайшая будет мне помощь. Ибо я — *изнываю*. Кто я? «Ундина?» «Ирина?» Ася?

Я совершенно не знаю!..

Знаю одно: таких женщин не было, не может быть, и не будет.

И, может быть, меня нет!

Послесловие к книге 1916 года
«ДЫМ, ДЫМ И ДЫМ...»

Может быть, если бы мне предложили написать это предисловие ранее – вместе с просьбой о подправке моей юной книги, – к переизданию, я бы выполнила это лучше, чем наспех, как я делаю это сейчас. Но основное, что я хотела бы сказать, остается тем же: что разлука моя с моей книгой, в разливе годов очень значительном, исчисляется в семьдесят один год. Двадцать два года – и год девяносто третий – казалось бы, что общего? Но это размышление – неправильно, ибо личность человека, ее музыкальный тон, тон ее камертона – все тот же, лишь *оснащенный* опытом жизни, которому нет конца.

Но разве *тогда* не было уже опыта? Он *был*, ибо позади молодости были юность, отрочество, детство – и не этот ли лирический опыт, опыт расставания с каждым днем, с каждым чувством, ощущением, человеком, с каждым полюбленным местом – как Таруса, как Нерви, как набережная Уши у Леманского озера, как волошинский и наш Коктебель, где оставалась навеки частичка души, – давал право на глубину печали, которой преисполнена, переполнена та моя юная книга?

Я ее люблю, как мое дитя, неразумное, не о том страдающее, о чем бы нужно, пыл свой тратившее щедро (что хорошо), но не на то, на что такой запал был направлен, горько упрекающее не то, что в этом страдании виновато... Все окружающее казалось нуждавшимся в обвинении в непохожести на тебя – но не мог тот не готовый жить человек на себя оглянуться, постичь, что, может быть, ты виновата перед миром, что, может быть, ты не понимаешь себя?..

Но вернемся назад к тому, что *предшествует* молодости, то, для чего она, молодость, кажется расцветанием: та пора, которая, быть может, еще мучительнее – туманное отрочество и так называемое золотое детство, когда все непонятно, но, впервые увиденное, услышанное, оглушает, завораживает и мучает, может быть, еще сильнее, чем в молодости...

Одиночество детства! Оглушительная новизна окружающего! Не с чем сравнивать — и поэтому невозможность оценки... Ежемгновенное восприятие неизведанного — и у кого просить помощи, когда ты не можешь выразить своих затруднений от неумения их осознать. Человек рождается в... лес без путей и без признаков познаваемости. Бессловесный, он задыхается от невыразимости с ним случившегося.

С первых дней жизни он оказывается заблудившимся в лесу неназываемых чувств. С утра и до ночи захлебывается ежеминутным восприятием ребенок, кроме крика — нет у него средств самозащиты, ибо мать, такая большая, так всем овладевшая, не имеет путей к его отчаянной молчаливости — первых дней, недель, месяцев. А когда приходят слова — это слова не те, они мало чему помогают, они не выводят из леса, они еще усложняют общение, потому что выражают конкретное и случайное, а душа полна непонятого и огромного, и ребенок только и делает, что отгребает мешающее, не соглашается на предлагаемое упрощение, борется с убожеством названного, *слыша* мир, а не вещь плюс вещь...

И за годом идет год, идут годы. Маленький человек научается привыкать к своему одиночеству, примиряется с тем, что не понят, устает от плача и крика и находит уют и веселье в трудном своем дне, отвыкает от требовательности, научается жить — как все. И на этом пути привыкания перед ним в тумане брезжится отрочество, и за ним — тот рассвет, который называется — молодость.

Трагическая пора — молодости! Весь мир звучит ей таким многоголосьем, с которым не сравнится знаменитейший в мире хор. И все чувства ее отзываются на разноголосные зовы, отдавая все силы свои — неизвестному, только на *силу* зова!

Молодость отдана — чувствам. И они мучительны. Ибо им не сопутствует понимание. Понимание приходит позднее, и когда оно настает — начинается освобождение от заколдованности чувствования, а когда пробуждается анализ вокруг сущего, а затем благодетельность само-

анализа — это приблизилась блаженная пора зрелости, овладения миром! Пора, когда ты не слушаешь призыв того, что зовется жизнью, не обольщаешься, не ошибаешься, когда тебе принадлежит все — оттого, что тебе ничего не нужно, когда ты слышишь до того неведомый слуху хрустальный голос истины, когда мир лежит перед тобой во всем своем безмолвном величии и когда обо всем, что было ранее, ты можешь сказать твердо: дым, дым и дым...

*Переделкино
15 мая 1987 года*

Анастасия Цветаева